

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО ЭСПЕРАНТИСТА

А. П. АНДРЕЕВ

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА БАЗЕ МАТЕРИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЙ ЯФЕТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ

МОСКВА

1929

издание

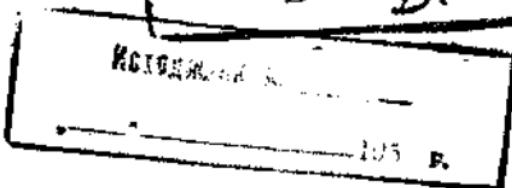
ЦК СЭСР

« • «шртпяжтяттпчтмлівтммірпяип^^



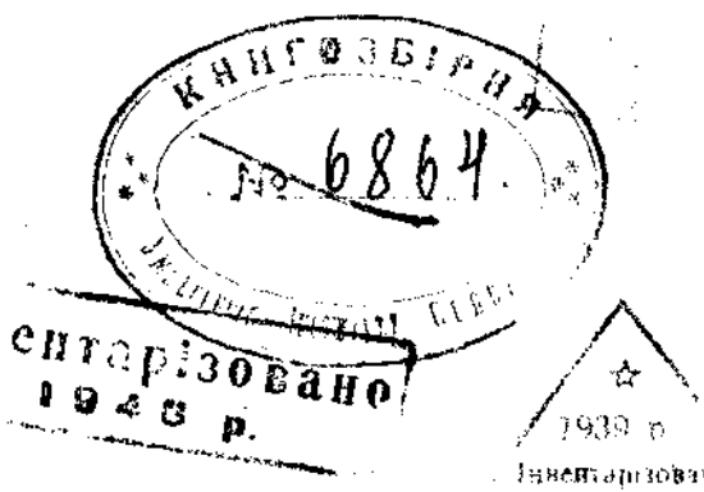
А. П. АНДРЕЕВ
ПРОГНОЗИСТА ГАУССА
В 1969 році

1967



ЯЗЫК и МЫШЛЕНИЕ

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯФЕТИ-
ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ



першій рівно
издание ЦК СЭСР
МОСКВА 1930

A. P. Andreev

LINGVO KAJ PENSADO

Studo surbaze de materialisma
jafetida teorio

Laŭ komisio de Lingva
Komisiono ĉe CK SEU
kontrolita de E. Drezen

Eld. C. K. SEU
Moskvo 1929

Моегублит № 53872

Заказ 1120.

Тираж 2.000.

«Интернациональная» 39-я тип. «Мосполиграф», Б. Путинковский, 3

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годы в СССР брошен весьма важный для нашего социалистического строительства лозунг:

«Иностранные языки в массы!»

Лозунг этот, безусловно, чрезвычайно правилен и актуален. Дать нашему пролетариату возможность лично, а не через переводчиков, общаться с приезжающими к нам рабочими и крестьянами других национальностей — это вернейший залог их взаимопонимания и, следовательно, дальнейшего широкления не только базисных — экономических, но и надстроенных — идеологических связей.

За последнее время наряду с изучением иностранных языков среди трудящихся масс СССР проявляются также стремления к изучению и практическому использованию международного языка эсперанто.

В связи с этим цель настоящей монографии в возможной мере научно осветить вопрос о языках вообще и о международном искусственном языке в частности.

Исследовать этот вопрос для нас еще тем актуальнее и важнее, что наш СССР волею истории становится организационным центром социальной революции для всего пролетарского мира. И каждое наше принципиальное решение дает поэтому непременный отзвук как во всех странах Европы, так и вне ее, до самых отдаленных уголов земного шара.

Нет никакого сомнения, что сближение и постепенное объединение всего трудящегося человечества на базе социализма и коммунизма даст в конце концов этому человечеству и один общий универсальный язык. Но кто может пред-

сказать, когда это будет? Изыскивать же способы содействия этому сближению и объединению нужно теперь-же, отнюдь не откладывая этого дела «в долгий ящик».

Все это заставляет самым внимательным и возможно объективным образом, избегая всяких предвзятостей или общих, но обоснованных строго научно суждений, взвесить все детали и стороны поставленного вопроса.

Прошло уже более сорока лет со времени появления первой книжки с изложением принципов строения эсперанто и с выпуском как полной грамматики языка (16 правил), так и основного его словаря (из 937 слов), при помощи которого, на основании **законов** языка, можно создать сотни миллионов (sic!) слов, т.-е. такое их количество, которое не может и сниться нашим естественным языкам при их хаотическом строении, с подным отсутствием в них не только законов, но хотя-бы мало-мальски твердых и устойчивых правил, имеющих применение в структуре языка.

Но при всем том до сих пор в широких массах мировой интеллигенции держится совершенно превратное мнение, будто эсперанто не имеет в себе задатков подлинной языковой жизни, так как он «**искусственный, мертвый, репорный или лабораторный** язык», — одним словом язык, «выдуманный одним человеком», а не «созданный самой жизнью», не «выросший с каким-либо народом».

Такое мнение об эсперанто усерднейшим образом распространяла и распространяет буржуазная, глубоко схоластическая «наука» о языке, или так наз. **«индоевропейская лингвистика»**.

Такая «научная установка» находится в принципиальном расхождении с наблюдающимися среди широких масс тенденциями—изучать и пользоваться языком эсперанто. Тем важнее остановиться на подробном рассмотрении современных принципиальных установок официального буржуазного по своему существу языкоznания.

Западно-европейская «наука» ясно и отчетливо понимает, что признание с ее стороны эсперанто за полноправный язык колеблет ее собственный фундамент, будто-бы монолитно-

тврдый, но на самом деле могущий рассыпаться не только от легкого сотрясения почвы, но и от мало-мальски крепкого ветра.

И вот как раз теперь из СССР подул именно такой крепкий ветер, который грозит перейти в настоящий ураган. Как раз теперь в СССР впервые оформляется истинно материалистическая наука о человеческом языке, как об орудии нашего духовного и физического труда. Как раз теперь Яфетическая теория, на основания не сказаний о «райских прайзыках», о «безусловных не знающих исключений фонетических законах» и пр., и пр., а на основании фактов, извлеченных из языкового-же до сих пор не тронутого достояния,—Яфетическая теория сказала теперь твердо и ясно, что все человеческие, так назыв. «живые» языки—искусственные, что все они созданы человеческим разумом и что если «искусственные» международные языки и отличаются от них по своей структуре, то только лишь количественно, а не качественно.

Яфетическая теория, насчитывающая сорокалетнюю историю¹⁾, до сих пор была слишком перегружена своими собственными исследованиями иисканиями, чтобы уделить соответственное время вопросу об искусственных «международных» языках²⁾. Поэтому автор настоящей работы попробовал самостоятельно посильнее осветить этот вопрос в надежде, что более компетентные лица выправят его неизбежные ошибки и поставят таким образом этот капитальнейший вопрос на истинно научную базу.

Лингвистическая Комиссия Союза Эсперантистов
Советских Республик

17/V—29 г. Москва.

¹⁾ Первый труд создателя Яфетической теории академика Н. Я. Марра о грузинском языке появился в 1883 году. Первая книжка об эсперанто появилась в 1887 году.

²⁾ Однако, Н. Я. Марр обещал это сделать в свое время (См. «Яфетическая теория», Баку, 1928 г., стр. 18).

Западно-Европейская наука о языке

а) „Естественно-историческое“ направление

Языковеды, или лингвисты говорят, что до XIX века науки о языке не существовало: были побасенки о «божественном» происхождении языка, о даровании его богом в раю и т. п. Правда, были также учения о «человеческом» его воспроизведении; указывалось даже иногда, что язык—это продукт общественной человеческой жизни. Но цельных учений, подтвержденных соответственным языковым же материалом, не было.

Такое цельное учение появилось в начале XIX века, когда в Европу (в Германию) проникли сведения об «открытии» в Индии священного языка брахманов (жрецов индуской религии)—или «санскрита». Оказалось, что этот язык имеет массу общего с европейскими языками, особенно в их древнем виде, т.-е. с древне-греческим, латинским, германским (готским), славянским языками. Германские ученые (братья Шлегель, Франц Бопп, братья Гриммы и др.) стали усердно изучать санскрит по сравнению его с европейскими языками, в их отжившем уже виде преимущественно. Постепенно выросло так назыв. **«историко-сравнительное» учение о человеческом языке**, которое из Германии было перенесено и в остальные части Европы, в том числе и в Россию. Выросла «наука о языке» (лингвистика), хотя собственно тут очень мало говорилось о вищеевропейских языках, а все внимание отдавалось языкам Европы (древним и частью—новым) и с ними родственным языкам, каковыми оказались языки Индии (древней), Персии (древней—зенд), Армении (отчасти)

и др. Поэтому эта наука получила также название — «**индоевропейского языкоznания**». В Германии же ее называли «индо-германским языкоznанием», а всю «семью» родственных языков — «индо-германской». Что-же касается других языков, внеевропейских, то они тоже были частично сведены в группы языков «семитических» и «хамитических», по внутреннему сходству их строения. К «семитическим» языкам были отнесены языки еврейский, арабский, и некоторые другие, к «хамитическим» — преимущественно африканские. Общие названия их были условные, по сыновьям библейского Иоя Симу (Сему) и Хаму. Имя же третьего сына Иафета (Яфета) осталось не занятым, хотя первоначально предполагалось приурочить его к индоевропейским языкам.

Установлено было существование еще одной группы языков, которые были явно родственны по своему строению, но не примыкали ни к одной из перечисленных групп, или «семей». Это были языки частью Азии, частью Европы, позванные «урало-алтайскими», или «угро-финскими» и т. д. К ним относились языки турецкий, финский, венгерский, монгольский и др.

Надо заметить, что в начале XIX века в Европе господствовало два прямо противоположных друг другу научных течения: одно было исключительно описательное, или «эмпирическое» (в нем явления или факты природы только лишь описывались и классифицировались, без всяких попыток к их объяснению); другое-же было исключительно умозрительное, или «натур-философское» (в нем явления совершенно не изучались, все бралось или у эмпириков, или из учений предшествующих ученых на веру и им давалось то или иное общее философское объяснение, иногда прямо фантастическое). Поэтому тогда уживались рядом, например, учения об эволюции Ламарка, и «натур-философские» попытки объяснить мир «категориями» Канта и т. п.

Естественно, оба эти учения были целиком перенесены и в новоизданную «науку о языке», или лингвистику. И основоположник ее **Франц Бопп** (1791—1867) учил, что «языки есть самостоятельные тела природы, которые образуются

по своим собственным законам, развиваются в силу заключенных в них самих жизненных принципов и затем мало-по-малу мертвят, переставая понимать сами себя, сами отбрасывают свои члены и формы, первоначально имевшие значение, но потом превратившиеся во внешнюю массу, почему языки искажают их, злоупотребляют ими, т.-е. применяют их к целям, для которых они не были предназначены по их происхождению» и т. д. Поэтому для Франца Боппа и его многочисленных учеников и приверженцев (во всех странах Европы) как языки во всем их составе, так и отдельные их части (слова и формы) были как бы особые **«мыслящие существа»**: «если язык не взлюбит почему-либо тот или иной звук, то он начинает гнать его повсюду, где только ни встретит»...

С другой-же стороны шло тщательнейшее изучение всех «фактов и явлений» индо-европейских языков: их склонений, спряжений, синтаксических сочетаний и грамматических форм (корни, суффиксы, префиксы, окончания). Все эти «факты и явления» тщательно описывались, сопоставлялись и классифицировались. Родили горы фактов и все эти факты признавались имеющими свое особое, независимое от человека существование в виду их нахождения в том или ином виде во всех языках (особенно—в древних). Особенным почетом стали пользоваться отдельные **«звуками»**, которые признавались основным элементом языков. Одна и также система **«звуков»** прослеживалась во всех индо-европейских языках, хотя и с разнообразными изменениями, которые очень легко подводились под то или иное, иногда прямо мистическое объяснение. Вслед-же за **«звуками»** — этими **«мыслящими, самостоятельно, вне человека живущими существами»** — таким же почетом стали пользоваться и **«звукосочетания»**, или **«грамматические формы»**, которые тем паче имели свое собственное независимое существование и также прослеживались, со всякими трансформациями, во всех или некоторых весьма удаленных территориально индо-европейских языках.

На этой почве выросло учение об **«органических» индо-европейских языках**, языках **«высококультурных и bla-**

городных» европейцев, и языках «низших рас», языках «кочевых» или «ногадных», занявших, естественно, подчиненную роль. Первые были «языки государственные», вторые же — **колониальные**, не способные к высшему развитию, как очевидно, к нему «не были способны» и владевшие ими «племена», самим богом предназначенные для «культуривания» (читай — для эксплуатации!) европейскими «благородными нациями». Для «благородных» индоевропейских языков был найден особый «благородный-же» предок, **язык особого народа «арийцев»**. Нужды нет, что «наука» никак не могла установить «родину» этого «пранарода» и его «праязыка»: ее полагали то на Гиндукуше, то в степях Черноморья, то в долинах северной Германии. Зато были твердо установлены основы этого благородного «праязыка» — до такой степени твердо, что в шестидесятых годах XIX века ученые лингвисты (Шлейхер и др.) построили «умозрительно» все грамматические формы и словарь этого никем никогда невиданного и неслыханного языка и писали на нем басни и сказки. В семидесятых-же и восьмидесятых годах того-же века были формулированы и самые «законы» человеческого языка, которые названы, естественно, «фонетическими», так как они касались священных «звуков», — этих «физических явлений», которые и воспроизводились индивидуальными людьми, при помощи их органов речи, но собственно существовали сами по себе, вне человека, и лишь, так сказать, выявлялись, привлекались из «внешнего мира» путем такого говорения. Формулировка этих «законов» была признана всеми лингвистами этого **«естественно-исторического»** направления за нечто неизложное и не имеющее исключений. А так как «законы»-то эти в действительности хромали на каждом шагу, т.е. беспрерывно давали исключения, то признавалось, что исключения эти только «кажущиеся» и что они происходят «незаконно», а именно или под влиянием аналогии, или за отсутствием того или иного условия в эпоху действия того или иного фонетического закона и т. п.

Отводя такую доминирующую роль «звукам» и вообще

формам языка, «естественно-историческое» направление относительно весьма мало занимается тем, что составляет истинное существо человеческого языка, т.-е. значимостью его «звукосочетаний» или грамматических форм. Эта значимость признается даже «внезыковым явлением». Язык — это только формы, только звукосочетания. А что вне этого, то не имеет-де прямого отношения к лингвистике.

И вот такая-то наука свила себе прочнейшее гнездо во всех европейских университетах! Оттуда она целиком была перенесена и к нам и продолжает почти безраздельно господствовать в СССР не только в вузах, но и в трудовых школах, в виде так назыв. «научно переработанных» школьных грамматик, построенных по «формальному методу». Не пора ли нам, наконец, на 12-м году Октября, одуматься и приняться за оздоровление этого едва-ли не самого большого места нашей школьной науки?

II

Западно-европейская наука о языке

б) «Социологическое» направление

Однако, кое-кто из гр. лингвистов возмутится таким обобщением западно-европейской науки о языке. Они, несомненно, возразят, что в Западной Европе это «формальное» или, «естественно-историческое» направление давно уже не пользуется прежним авторитетом и заменено или «социологическим», или «эстетическим» и др. направлениями.

Однако, если Западная Европа и перешла уже к новым направлениям в лингвистике, то переход этот далеко не полный. И в частности так назыв. «социологическое» направление, которым особенно гордится французская лингвистическая школа, как уже своим собственным завоеванием, это направление является только лишь перепевом «естественно-исторического». Что это действительно так, доказать не трудно.

Во-первых, это новое «социологическое» направление по-прежнему искренно верует в «праязыки», и в «фонетические» законы. По-прежнему оно утверждает, что язык человеческий нечто «нерукотворное» и неподведомое человеческому разуму. Ибо если не «звук», то язык, как целое, есть «факт, вещь мира культурно-социального, передаваемая по традиции определенным коллективом его отдельным членам и имеющая в коллективе независимое от каждого отдельного члена языковой общине объективное бытие». «Язык никогда не допускает преднамеренности, и размыщление, обсуждение не может иметь в нем места иначе как в целях классификации существующих в нем и уже готовых и обязательных форм. Мало того, применение этих обязательных для всех членов языковой общины форм, т.-е. процессы речи вообще или того-иного высказывания,—эти применения установленной в коллективе системы языка выходят из пределов лингвистического изучения, ибо они лишены внутреннего единства, крайне индивидуальны и противоречивы. Они постоянно вносят те или иные изменения в языковую систему и тем нарушают ее стройность и принципиальную неизменность».

Раз-же язык — объективная реальность, развивающаяся вне человеческих голов и, следовательно, живущая по своим собственным законам, *an sich und für sich* (в себе и для себя)¹); раз он есть внешний факт по отношению к каждому отдельному индивидуальному сознанию и, как таковой, обладает «внешней» принудительностью по отношению к этому последнему, то, очевидно, он есть если не особый «организм», как его трактует «естественно-историческое» направление, то—во всяком случае—стихия явно неподведомая человеческому сознанию, развивающаяся только эволюционно (да и то, в сущности говоря, противостоятельно, так как всякое изменение стройной готовой системы нарушает ее стройность и, следовательно, портит

¹⁾ *La langue est un tout en soi* (язык есть нечто целое в самом себе) говорит основоположник «социологического» направления Ф. де-Сассюр.

ее). Что же касается революционных перемен, перемен крупного идейного, чисто сознательного характера, то о них, понятно, не может быть ни малейшего упоминания!

Это все—черты сходства с «естественно - историческим» направлением. Отличие же «социологического» направления в том, что оно ввело в жизнь языка **социальную струю**. В языке, помимо индивидуального высказывания, есть **«надъ-индивидуальная или социальная» сторона**. Как внешняя, звуковая (знаковая) часть языка, так и часть внутренняя, смысловая (или семасиологическая)—обе они есть функция или продукция нашей общественности. Ребенок с детства насыщается как **общественной фонетикой** (т.-е. звуками языка внешними и внутренними, или «фонемами», о которых еще будет говориться впоследствии), так и **общественной семантикой** (т.-е. значимостью этого звукового материала в его сочетаниях—словах и предложениях). И если в раннем детстве он еще пытается создавать свои собственные языковые формы, то впоследствии совершенно забывает об этом и стремится только воспроизвести все принятые его языковой общиной «звукозначимости», так как в противном случае он рискует остаться непонятым остальными членами своего коллектива.

Это последнее учение безусловно правильно и представляет живую струю в «социологическом» направлении. Но его авторы¹⁾ тут-же приняли должные меры, чтобы немедленно затушевать и убить эту живую струю и все свести к тому-же общему знаменателю «принципиальной неизменяемости языковой системы», или его неподведомственности человеческому разуму. По этому гг. «социологи» признали, впервых, что хотя и звуковая (знаковая), и смысловая (идейная) стороны языка есть функции общественности (которая, как известно, меняется не только эволюционно, но и революционно), но связь между этими обеими его сторо-

¹⁾ Основоположник его **женевский лингвист Фердинанд де-Соссюр**, давно уже умерший. Теперь же его поддерживают ученики де-Соссюра, из которых первое место занимает глава французской лингвистической школы **Антуан Мейе (Meillet)**.

иами «абсолютно произвольна» или «ничем не мотивирована»; вовторых-же, создавшие язык социальные силы действуют во времени и связь с прошлым (традиция) лишает настоящей свободы выбора: «мы говорим так, потому, что наши предки говорили так»!. Ясно, что языки **принципиально осуждены на полную неизменяемость!** А если они фактически и изменяются, то эти изменения,— как сказано уже и выше,—совершенно « противоестественны», ибо нарушают стройность общей системы, и могут они совершаться только **эволюционно, но никак не революционно!**

По при таких условиях где-же принципиальная четкая разница «социологического» направления с «естественно-историческим»? Ее, очевидно, нет по существу.

Это станет совершенно ясным, если мы отметим следующую непоследовательность в учении социологической школы. В самом деле, если обе основные стороны языка, т.-е. его фонетика и его семантика, есть функции общественности, то каким-же образом их взаимная связь между собой является **«абсолютно произвольной»** и **«ничем немотивированной»?** Допускать это равносильно допущению, например того, что две линии, направляемые каждой порознь одной и той же силой, вместе с тем обладают и значительной свободой «абсолютно произвольного» и «ничем не мотивированного» соотношения друг к другу: они могут-де по своему «произволу» соединиться между собой, но могут также «произвольно» «отказаться» от соединения, или встретиться в совершенно неожиданном месте и т. п.

Допускать подобное утверждение,— это значит впадать в коренное противоречие с основными принципами всех наших объективных наук, как естественно-исторических, так и социальных. Ведь все они не имеют понятия о том, что такое «произвол» или «случайность». Эти слова вычеркнуты из их словарей и заменены словами «детерминизм», «каузальность», «закон» и т. п. Каким же образом допускает их это новоявленное, яко-бы «социологическое» направление лингвистики? И не грозит ли это ему опасностью в скором времени заго-

ворить о «свободе души», о «божественном» создании языка в раю, где Адам назвал всех животных, где бог разговаривал с ним, а он сам разговаривал с Евой, со змием-соблазнителем и т. д.?

III

Новая материалистическая наука о языке

На этом собственно говоря, можно и покончить с изложением западно-европейских теорий языка¹⁾. Их схоластичность, антинаучность — вне всякого сомнения. А раз они таковы, то как же можно терпеть их в наших вузах и тем более допускать в тех или иных отношениях их влияние в трудовых школах? И тем более, что в настоящее время мы имеем у себя **истинно материалистическое учение о языке**, в лице так назыв. «Яфетической теории» академика Н. Я. Марра и его последователей.

Язык признается именно тем, что он и есть в действительности, т. е. идеологической надстройкой над человеческой общественностью. Вся наша идеология выросла из нашей общественности, которая в свою очередь есть функция нашей экономики. Как же может язык — этот несомненный продукт обобществленного человеческогоума — составить хотя бы на одну йоту что-либо обособленное или произвольное от человеческой общественности? Во всем своем составе, как звуковом, так и семантическом, язык всецело следует за всеми фазами развития человеческой общественности, отображая сначала первичный дородовой строй, потом родовой и племенной быт, и, наконец, строй классового капиталистического государства. И это до такой степени само собой ясно и понятно, что становиться на иную точку зрения может, повидимому, только тот, кто, в силу тех или других соображений «имея уши, не желает слышать и, имея глаза, не желает видеть».

¹⁾ Я ничего не говорю об упомянутом выше и так же далеком от научной трактовки вопроса «эстетическом» направлении, так как оно совсем не пользуется у нас авторитетом.

На основании строго языковых данных, почерпнутых из исследуемых мною и совершенно оставленных в туне индоевропейцами «яфетических языков» (кавказских, баскского в Испаньях и др.), Яфетическая теория тщательно и проникновенно следит, как образовался человеческий звуковой язык, доказывая, что ему предшествовал язык ручной или линейный, т.-е. язык ручных жестов, соединенных с мимикой и движениями тела. И образовываясь таким образом, он преемственно переносил на себя функции ручной речи, насыщая свои собственные функции по соответственным функциям этой последней. Так, в таком яфетическом языке, как грузинский, слово «*u-toda*» значило (в древнем языке) однажды и «протянул руку» и «назвал голосом», при «tot» — рука, лапа. В армянском языке, который сохранил в себе большое количество пережиточностей (реликтовностей) от самого своего яфетического состояния, «разум, ум» называется «*han+tar*», что значит «рука+рука». Точно также в русском языке, в котором также сохранилась масса подобных же реликтовностей, слово «рука» через «рухнуть» или «рушить» переходит в «дух—душ—душа». Русский корень «*каз*» не имеет теперь определенного значения (поговорянски же «*казаты*» — значит «говорить»). Но с префиксами он получает значения: с одной стороны «говорить» — «с-каз-ать» (голосом), с другой же стороны «у-каз-ать» (рукой).

Таких примеров можно было бы привести очень много из разных языков. И все они подтверждают положение яфетической теории о преемственном происхождении от «руки» и «ручного труда» всего идейного содержания звукового языка. Эта теория учит, что ручная речь, образовавшаяся в процессе труда, путем его воздействия на мозг, рефлексивно (диалектически) сама совершенствовалась от воздействия на нее постепенно развивавшегося мозга, осознавшего значение того или иного ручного действия и в трудовых процессах, и в смысле жеста — знака общения и сообщения друг другу своих мыслей.

Что касается самих звуков человеческой речи, то они начались также в процессах того же труда и вырабатывались

лись из первичного звериного рева. Из этого рева выделялись, осознавались некоторые чаще повторявшиеся звуки и они уже служили для согласования трудовых действий, когда они производились общественно. Путем долгих и упорных исканий Н. Я. Марр установил и подтверждает данными яфетических языков, что вся первичная человеческая речь свелась в сущности к четырем звуковым комплексам, которые сейчас можно прочитать так: САЛ, БЭР, ИОН, РОШ. Конечно, первоначально эти комплексы отнюдь не были членораздельны или артикулированы, как теперь: это были подобия звериного рева, слитного, диффузного. И лишь постепенно, путем постепенного повторения и диалектического воздействия начавшего еще дальше развиваться мозга, эти комплексы расчленялись на входившие в их состав отдельные звуки. И из слитного, целостного САЛ получилось постепенно С-А-Л, которое вместе с тем видоизменялось опять таки при постоянном повторении и воздействии разума и переходило в Т-А-Л, Т-О-Л или Ш-О-Р и т. д. То же самое происходило и с остальными комплексами, которые возникали из такого же звериного рева других первичных хозяйственных коллективов. При скрещении этих коллективов между собой скрещивались и их звуки, которыми они дорожили как своими «тотемами», священными талисманами, названиями и своего коллектива, и каждого из составляющих его членов.

Так постепенно росла и крепла звуковая речь первичного человечества. Первичных «языков» было множество. Все они имели свои собственные звуки и их последующие видоизменения (корреспонденции). Этим звукам и их видоизменениям давались идейные значения, почему они становились условными «знаками», носителями этих значений и употреблялись именно, как таковые. При скрещениях же коллективов (или впоследствии—родовых племен) скрещивались и их языки—и в звуковом составе, и в идейном содержании. Получались наслоения, соединялись звуки для лучшего взаимопонимания; образовывались сходства языков, которые впоследствии могли и расходиться в разные сторо-

и то Былое «родство» языков забывалось, но при новой встрече вспоминалось, как выявилось «родство» санскрита (Индии) с языками Европы.

Мы не будем, конечно, здесь следить за всеми концепциями Яфетической теории в области палеонтологии (доистории) человеческого языка, освещаемой ею на основе прямых языковых данных. Отметим лишь, что эти концепции привели яфетидологов к безусловному заключению, что первично языков было множество, сколько было первичных ходжественных (еще дородовых) коллективов. Это, как мы видим, диаметральная противоположность учению индо-европеистики как в «естественно-историческом», так и в «социологическом» ее направлениях об едином «праязыке», от которого пошли затем все индо-европейские языки.

Нелепо говорить об этом «праязыке», языке вполне оформленном и в звуковом, и в семантическом отношениях,— как о первоначальном источнике человеческих языков. Предполагать такой ход в образовании человеческой звуковой речи это значит, во-первых, говорить о первичности оформленного звука и оформленной идеи, что явно невозможно и может быть соединено только с «божественным происхождением» языка в раю; во-вторых же, это уподобляет ход выработки человеческого языка пирамиде, поставленной на свою вершину, как остроумно говорит Яфетидология. Наконец, в третьих, надо отметить, что индо-европеисты с их учением о «праязыке» до сих пор не могут согласиться между собою о том, сколько было первичных «праязыков»: один-ли «благородный арийский праязык», от которого пошли индо-европейские языки, или несколько, так как ведь кроме индо-европейских языков существуют еще, как никак, хотя и «плохонькие», хотя и «колониальные», хотя и «некультурные» и даже «дикие», но все же самостоятельные языки до языков каких-нибудь тихоокеанских островитян или австралийских, бечно голых, племен... Так вот эти-то, с позволения сказать, «языки», имели-ли они ~~свои~~ «праязыки», или это, исключительная привилегия благородных, высококультурных культуртрегеров-европейцев?.

Пусть не подумают неосведомленные читатели, что это все сказано в щутку над индо-европеистикой. Ничего подобного: эти споры идут в ней и сейчас и притом вполне серьезно... И все это делается вместо того, чтобы серьезно приступить к фактическому изучению этих «колониальных» языков и затем делать из изучения их соответственные конкретные, твердо обоснованные выводы, как поступает Яфетическая теория, не признающая «благородных» и «неблагородных» языков, но изучающая их посильно с одинаковым вниманием,—тем более, что первичная человеческая или «дикая» речь дает такие данные, которых не найдешь в «высококультурных» языках Европы. Впрочем, сама индоевропеистика в настоящее время признает, что с ее методами, вырошенными исключительно на почве индоевропеистики, нельзя и думать об изучении иных языков, вне языков индоевропейской «семьи». Для этого нужны какие-то иные методы, а их-то у нее и нет. Кто желает проверить это грустное признание, пусть прочитает хотя бы предисловие к одному из последних трудов уже упомянутого раньше столпа индоевропеистики и главы социологического направления Ан. Мейе *«La méthode comparative en linguistique historique»* 1925, Oslo-Paris.

IV

Общий ход развития человеческого языка

В настоящей монографии, конечно, нельзя осветить шаг за шагом все научные и материалистические концепции Яфетической теории и сравнивать их с надуманными учениями «почившей» индоевропеистики, похоронившей уже самое себя хотя бы тем признанием, которое приведено в конце предшествующей главы. Остановимся лишь на важнейшем для настоящей монографии вопросе относительно общего хода развития человеческого языка.

Яфетическая теория учит,—говорит Н. Я. Марр в своем самом крупном труде «Яфетическая теория»¹⁾: что язык, звуковая речь, ни в какой стадии своего развития, ни в какой части не является простым даром природы. Звуковой язык есть создание человечества. Человечество сотворило свой язык в процессе труда в определенных общественных условиях и пересоздает его с наступлением действительно новых социальных форм жизни и быта, сообразно новому в этих условиях мышлению. Выходит, что натуральных языков не существует в мире: языки все искусственные, все созданы человечеством. И они не перестают быть искусственными по происхождению от того, что, раз они созданы, наследственno переходят от одного поколения к другому, точно природный дар, как бы впитываемый с материальным молоком в детском возрасте. Корни наследуемой речи не во внешней природе, не внутри нас, или нашей физической природы, а в общественности, в ее материальной базе, хозяйстве и технике. Общественность наследует, консервирует или перелицовывает свою речь в новые формы, претворяет в новый вид и переводит в новую систему»... Начав же множеством первичных языков, «человечество шло и идет к единству языка всего человечества. Яфетическая теория изясняет пути этой эволюции мутационного (перерожденческого) порядка, ряд смен одной системы другой и технику каждой типологически новой системы, приближавшей и приближающей нас к будущему типу единого языка»...

По этот «будущий единый всемирный язык будет языком новой системы, особой, доселе не существовавшей, как будущее хозяйство с его техникой, будущая внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура. Таким языком, естественно, не может быть ни один из самых распространенных живых языков мира, неизбежно буржуазно-культурный и буржуазно-классовый, как ни один из мертвых языков не смог стать международным в бывшем мире,

1) «Программа общего курса учения об языке», Баку 1928 г., стр. 31, 18, 19, 21.

до-октябрьском... На будущую речь человечества Яфетическая теория не может смотреть иначе, как на искусственно имеющий быть созданным язык с тем отличием от прежней общественной работы в этой области культурных достижений, что бессознательный традиционный момент все более и более должен уступить место осознанному участию в ней, наследственная пассивность должна преобразиться, выделив из себя соответственную свою антитезу, в общественную активность, руководимую или планируемую на основании конкретных данных и техники творческой работы человечества прошлых веков, многочисленных веков и тысячелетий общих усилий над созданием речи... В связи с этим интерес именно к будущему, а не приверженность к древности и к ее отмершим и отмирающим мировоззрениям!..»

Это одна чрезвычайно важная для нас сторона учения Яфетической теории: все человеческие языки—искусственные и все они, начавшись во множестве, идут постепенно к сближению и к окончательному слиянию в единый универсальный общечеловеческий язык, когда это человечество сольет воедино всю свою общественность на основе общего мирового хозяйства и общей мировой техники.

Из изложенных положений вытекает еще одно не менее важное. Все языки, воспроизводя своим морфологическим, семантическим и синтаксическим строем соответственную общественность, естественно, воспроизводят ее с ее социальным строем. Первые социальные группировки начались уже во времена самого зарождения звуковой речи, когда первые звуковые комплексы были использованы первичным же нетрудовым элементом—магами (жрецами) тогдашних хозяйственных коллективов при их ритуальных действиях. При последующих скрещениях этих коллективов и образовании племен, а затем при скрещениях самих племен одни из них становились в господствующее положение, другие—в положение подчиненное. Это экономическое и социальное раслоение непременно отражалось и в языке: появлялись составные слова, в которых на первом месте находились элементы языка господствующего племени, а затем шли уже

элементы речи подчиненного племени. Последние обычно сокращались, пропадала трех-составность и оставались или два, или даже один звук, который играл служебную роль, т. е. обозначал соотношения слов в новых составных предложениях (первоначальные предложения-суждения состояли из одного «слова», которое потом, в процессе дифференциации речи, расчленялось и выделяло из себя сначала части предложения, а затем эти последние становились определенными частями речи). Когда же из племен стали слагаться именные государственные группировки и в них появились твердо склонявшиеся сословия (из былых племен), то наименования племен господствующих становились наименованием господствующих сословий, а наименования подчиненных племен принимали значение низших, эксплуатируемых высшими сословиями. Так, в Грузии из бытого самостоятельного племени «колхов», прославленных греческой мифологией (путешествие аргонавтов Язона и др. в Колхиду за золотым руном), образовалось низшее сословие земледельцев-крестьян, называемых «глехи» (вариоизменение слова «колхи»). Точно также русские «смерды» произошли из берского племени, подчиненного новыми наследниками рошского (или русского) корня..

И, конечно, каждая такая перемена экономического и социального строя вызывала соответственную перемену в мышлении скрестившихся племен. А изменившееся мышление закрепляло и развивало соответственные перемены в языке. Язык приобретал новый строй, или новую систему построения речи.

Основных смен мышления, а вместе с тем и смен языковых типологий (систем) Яфетическая теория насчитывает три: 1) «эпохи первобытного коммунизма, со строем речи синтетическим, с полисематизмом слов, без различия основного и функционального значения; 2) общественной структуры, основанной на выделении различных видов хозяйства с общественным разделением труда, т.-е. с разделением общества по профессиям, с расслоением единого общества на производственно-технические группы, представлявшие перво-

бытную форму цехов, когда им сопутствует строй речи, выделяющий части речи, а во фразе—различные предложения, в предложениях—различные их части и т. п., впоследствии обращающиеся в морфологические элементы, с различением в словах основных значений и с нарастанием в них рядом с основным смыслом функционального; 3) сословного или классового общества, с техническим разделением труда, с морфологией флексивного порядка»¹⁾.

Откладывая пояснения относительно типологии языка и их последовательности до следующей главы, теперь отметим, что Яфетическая теория таким образом твердо устанавливает принцип классовости языков: языков бесклассовых или бессословных никогда не было и не могло быть. А так как каждая нация современного порядка делится на классы, то и не может быть общенациональных языков, внеклассовых. «Подход к тому или иному языку, так называемой национальной культуры, как к массово-родной речи всего населения, — ненаучный и ирреальный: национальный язык, вне-сословный вне-классовый — пока есть фикция. Бесклассовый язык может существовать только в бесклассовом обществе»... Яркий пример этому Н. Я. Марр дает на языках Грузии и Армении. В них надо различать древне-литературные языки и современные народные языки. Первые были языками высших классов обеих стран, последние — языками широких народных масс, бесписьменных. И вот при сравнении их, оказывается что «народные языки и грузин и, армян обнаруживают типологически больше схождений друг с другом, чем народный язык грузинский с грузинским же древнелитературным, или народный язык армянский с армянским же древнелитературным. Точно также древнелитературные языки Армении и Грузии стоят ближе друг к другу, чем каждый из них к народному языку своей же национальности. Таким образом воочию выступает, что не существует национального, общенационального языка, а есть классовый язык, и языки

¹⁾ См. Н. Я. Марр. Актуальные проблемы и очередные задачи Яфетической теории. Москва, 1929, стр. 23—24.

одного и того же класса различных стран, при идентичности социальной структуры, выявляют больше типологического сходства друг с другом, чем языки различных классов одной и той же страны, одной и той же нации»¹⁾.

* * *

Изучая постепенное развитие звукового языка, Яфетическая теория устанавливает строгую последовательность развития как звуковой и вообще формальной стороны языка, так и его внутренней стороны, т.-е. значимостей создаваемых слов. И то, и другое росло в путях предшествовавшего развития ручной речи, которая вообще была гораздо более, так сказать, чисто материальна, чем звуковая, так как «у основного оружия ее производства—руки более непосредственная или наглядная связь с центром мышления. Добрая часть кинетической (ручной) речи могла происходить на начальной стадии ее развития автоматически, под влиянием аффекта... Длительное господство кинетической речи—многие десятки если не сотни тысяч лет—явилось источником создания мыслей и укрепления их работы, причем если технически тут действовала рука, то идеологически все зависело от общественности, следовательно, в конечном счете, от хозяйственного строя. И кинетической речью вырабатывалось в свою очередь общественное мировоззрение»²⁾...

Звуковая речь тесно связана с ручной. Возникла она рядом с последней и попутно с нею, только постепенно ее заменила, по мере осознания ее преимуществ. Слова ее созидались и формально, и идеологически (т.-е. и как звукосочетания, и как значимости) по мере развития потребности, возникшей с развитием хозяйственной жизни социальной структуры коллективов в путях достигнутой в то время техники и в зависимости от мышления тех эпох. «Но созидались слова не на пустом месте и не в путях отвлечен-

¹⁾ Н. Я. Марр «Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком», сборник «Языковедение и материалism». 1929 г., Ленинград, стр. 33.

²⁾ «Яфетическая теория», стр. 88 и 89.

ного мышления, хотя бы в увязке с общественностью и ее материальными предпосылками, а в постепенно протекавшем диалектическом расхождении с кинетической речью, рядом с которой элементы звуковой речи долго служили подсобным материалом, ограничивавшим свое использование кругом предметов и представлений магического порядка. Когда же сложилась звуковая речь и вышла за пределы магических потребностей в мир обыденных предметов и представлений, то эта победительница сраженной кинетической речи оказалась забравшей все достижения ручного языка: первичные слова и производные образования звуковой речи были ни что иное, как перевод линейных или кинетических символов, сигнализировавшихся рукой, на звуковые символы»¹⁾.

Уже из этого видно, что развитие звуковой речи было подчинено во всех смыслах строгой закономерности как со стороны своей базы—общественности, так и со стороны непосредственного источника, т.-е. ручной речи. Никакой произвол тут не мог иметь места ни с точки зрения звука, ни с точки зрения дававшегося ему смысла, ни, паконец, в отношении взаимной связи между ними. Все это было строгим образом предопределено общим ходом социальной жизни.

В статье «Иштарь»²⁾ Н. Я. Марр говорит: «В грузинском языке существует прекрасная поговорка. «Горшечник сказал: к этому моему горшку ушко приделаю там, где хочу»... Творя и лепя свою речь, человечество давало ее элементам, независимо от их формовки, ту постановку и то назначение, которое оно хотело; но в его хотении им руководила согласованность коллективной воли, закономерность... Как и в жизни человечества, так и в жизни языка нет ничего случайного, нет ничего—я хотел сказать—чудесного. Но можем ли мы отрицать чудо, когда теперь видим, как человек из ничего, из ничтожества создал свой язык? Ведь это чудо, но и в этом чуде нет ничего случайного»... Затем на пространстве очень большой статьи автор

¹⁾ Цитированная статья в сборнике «Языковедение и материализм», стр. 39—40.

²⁾ Яфетический Сборник, т. V, 1927 г.

шаг за шагом рассматривает, как закономерно, как после довательно развивались и трансформировались звуки, заключавшиеся в имени богини «Иштарь», в другие звукосочетания и как они в разных местах наполнялись также закономерно и последовательно тем или иным идеальным содержанием...

Вся история звукового языка свидетельствует, что как примитивные коллективы, так и все их последующие потомки никогда не были «свободны» в выборе ни звуков своего языка, ни их значений, ни методов или способов их взаимного соединения. Все это шло совершенно непроизвольно и независимо от человеческой воли, ибо человек и до сих пор не осознал той «слепой необходимости», которая заключается в языке. И вот только теперь благодаря установлению новой материалистической науки о нем, язык получает свободу действий по отношению к нему и в целом его составе, и во всех его составных частях. Лишь теперь, благодаря этому огромному завоеванию, он из раба по отношению к языку становится его принципиальным хозяином и господином, как стал по той же причине (т.-е. по причине осознания «слепых необходимостей») хозяином и господином очень многих сторон и явлений своей материальной и духовной культуры. И та же Яфетическая теория указывает ему, как он должен действовать, чтобы правильно и в интересах будущего единого языка объединенного человечества использовать эту вновь приобретенную свободу и приступить к сознательному движению к этому будущему универсальному языку...

V

Что такое человеческий звуковой язык?

Чтобы ответить на поставленный в заголовке этой главы вопрос и чтобы таким образом определить истинную сущность языка и те законы, которые управляют его процессами, необходимо установить его положение в природе вообще и его взаимоотношения с фактами и объектами этой последней.

В природе мы видим: во-первых, объективную реальность, или внешний мир, определяемый философским термином материя. Эта материя, в тех или иных ее видах и формах, находится в беспрерывном движении, совершающемся во времени и пространстве. Во-вторых, мы видим в ней человека, с его сознанием, который есть часть этой природы, или продукт ее и, следовательно, обладает всеми ее свойствами и ничем иным, кроме этих свойств.

Противополагая себя остальной природе, человек познает ее при помощи своих органов чувств, в которых внешняя объективная реальность (природа) производит раздражения и ощущения. Эти же последние в мозгу человека дают изображения, или отображения соответственных предметов или объектов, каковые отображения составляют основу всех наших представлений, понятий, идей, принципов и т. п.

Таким образом внешнему или объективному миру в голове человека противополагается внутренний мир его отображений, с теми или иными концепциями и отвлечениями. Этот второй субъективный мир составляет функцию первого, объективного. Чем точнее и правильнее этот субъективный мир отражает внешний объективный мир, тем лучше человек опознает его, тем правильнее он постигает заключающиеся в нем «слепые необходимости» и тем более получает по отношению к нему «свободы действий». Таким образом, осознавая и понимая внешний мир, человек все более и более овладевает этим последним и подчиняет его себе.

И вот тут-то, на пути к пониманию этого внешнего мира и к правильному его отображению в своем мозгу не только его вещественных предметов или объектов, но и причинных между ними взаимоотношений, огромнейшую роль играл и играет наш звуковой язык. Его роль настолько велика и он по своей природе настолько своеобразен, что его можно назвать третьим миром — миром условных знаков, которым человек в течение всего времени своего существования дал известную условную же значимость. Эта же значимость дает возможность человеку как в процессе мышления, так и в процессе общения с себе подобными заменять мозговые

образы (отображения) объектов внешнего мира (а равно дальнейшие их обобщения, отвлечения от них и пр.) посредством звуковых условных названий этих объектов своего мышления и говорения.

Эти явления можно уподобить в процессе обмена товаров жизненно необходимых (пища, одежда, жилище и пр.) на их как бы общее отображение, также реальное и прямое, а именно на золото, как общий товарный эквивалент,—можно уподобить их условной замене неудобного золота более удобными и портативными бумажными деньгами, как условными знаками, заступающими место реального золота с его объективной, а не условной ценностью.

Уже из изложенного ясно, что третий мир—мир звукоизначимостей, или условных наименований объектов внешнего мира и пр.,—этот третий мир есть мир, искусственно созданный самим человеком в его голове (разумея, конечно, не индивидуального, единичного человека, а собирательного, в обществе). Никакого внешнего реального существования он не имеет и не может иметь, как и второй субъективный мир прямых мозговых отображений внешнего мира. Но в то время как этот последний есть результат прямого отображения внешней природы в одиночном человеческом мозгу, в это же время мир условных звукоизначимостей есть результат преломления внешнего мира в человеческой общественности, которая передает его в отдельные индивидуальные человеческие мозги. Поэтому хотя реально он и живет в индивидуальных человеческих головах, но все же в основе своей он есть продукт человеческой общественности и отображает ее со всеми особенностями, фактами и явлениями ее существования, следя за всеми ее изменениями, каковы бы они ни были. И живет он до тех пор, пока живет породившая его общественность. Когда же она исчезает, то и ее язык становится мертвым, даже если на нем сохранилась какая бы то ни было письменность. Однако, если эта письменность затем, при благоприятных обстоятельствах, расшифровывается представителями других языковых общин, язык,

уже умерший, вновь оживает в головах расшифровавших его людей.

Теперь, естественно, является вопрос, в каком же виде язык или та или иная система звукозначимостей живет и функционирует в индивидуальных человеческих головах, а с другой стороны каким образом эта индивидуальная ее жизнь сочетается с социальным ее происхождением?

Вопрос этот очень обширен и требует особого специального посвященного труда. В этой монографии, понятно, не возможности трактовать его во всех подробностях и поэтому приходится ограничиться только несколькими важнейшими замечаниями.

Прежде всего необходимо сказать, что хотя мы и говорим, что «материальную» основу или остов языка составляют «звуки», но этот последний термин надо понимать не в смысле тех «звуков», которые якобы,—по нашему общенному представлению,—сами по себе, происходя от «звучания» тех или иных внешних тел, живут и наполняют воздух. Нет, в воздухе никаких «звуков» в истинном смысле этого слова нет и не может быть. В воздухе есть только механические движения его частиц, волнобразные (или вернее — сфероидальные) вибрации этих частиц (физика устанавливает, что это есть сгущение и разрежение воздуха). Когда это механическое движение воздушных частиц попадает в наше ухо, то оно там производит механическое же движение барабанной перепонки, затем — косточек среднего уха лимфы (особой жидкости) внутреннего уха. В этом последнем есть так наз. Кортиев орган, очень сложного устройства. В нем имеется масса так наз. «радиальных волокон», а на них находятся так наз. «слуховые клетки». И радиальные волокна, и слуховые клетки приходят в движение от движения лимфы, вследствие чего содержащееся в слуховых клетках «звукочувствительное вещество» разлагается на свои составные части и эти частицы наэлектризовываются, становятся, — как говорит наука, — «ионами». Этот распад звукочувствительного вещества слуховых клеток и образование ионов есть уже не механическое (физическое)

движение, а физиологический или физико-химический процесс. Этот процесс вызывает соответствующий же физиологический процесс в концах оплетающих слуховые клетки слухового нерва, по которому он передается в слуховой мозговой центр. В этом последнем также происходит соответствующий его анатомическому строению процесс, который уже есть процесс психофизиологический. Т.е. тут к чисто физиологическому процессу присоединяется еще внутренняя сторона, или особое свойство функционирующей высокоорганизованной мозговой материи, которое связано с самим физиологическим процессом, как причина со своим следствием, или как всякое вещество или материя, связано со своими свойствами—весомостью, электропроводимостью и т.п. Следовательно, «психизм» этого физиологического явления есть отнюдь не что-либо внешнее, откуда-то извне вложенное в человеческую голову, а обратная, внутренняя сторона, внутреннее свойство этого-же физиологического явления или процесса. Это последнее замечание надо особенно иметь ввиду во избежание каких-либо сомнений и приписывания излагаемой теории «потусторонней», трансцендентальной «душиности» и т. п.

Вот это-то последнее психофизиологическое явление, происходящее в мозговом слуховом центре, и есть собственно то, что мы называем «звуком». До него было механическое движение, от которого родилось «ощущение» в слуховом нерве, в виде сказанного процесса распада нервного вещества и его ионизации; а это ощущение уже в слуховом центре трансформируется в «представление» первоначального внешнего «звучка», или вибраций воздуха. Это «представление» или мозговое отображение внешнего «звучка» и есть в прямом смысле слова то, что мы называем «звуком».

Идя теперь дальше, отметим, что в мозгу человека имеется общий слуховой центр, который описанным способом воспринимает и рождает представления всяких вообще внешних «звуков». Из части же этого общего слухового центра вырабатывается **специальный речевой слуховой центр**, где

воспринимаются только «звуки» речи, или вибрации воздуха, происходящие от соответственных движений наших речевых органов (языка, губ и пр.). Этот центр выработался у человека в течение всего времени его развития именно от созданного им звукового языка. У животных если он и существует, то только лишь в примитивном виде и только у домашних, напр. у собак, которые в обществе человека привыкают к тем или иным словам и понимают их значение.

Указанный речевой слуховой центр,—как устанавливает анатомия и физиология,—у наших детей представляет при их рождении, так сказать, пустое место, подготовленное, правда, к соответственным восприятиям, но еще ничего специального, «звукового» в себе не содержащее. Это содержание появляется в нем постепенно в процессе жизни, причем, как полагают, уже в первый год жизни ребенка этот центр становится действующим и вызывает разработку и других мозговых центров, о которых мы скажем в следующей главе и которые суммируют восприятия слухового центра и дают слова и фразы разговорной речи. Ребенок уже понимает обращаемую к нему речь (в известных, конечно, пределах) и выражает это понимание исполнением обращаемых к нему приказаний и пр. Путем первоначального лепета и подражания взрослым ребенок на втором году жизни постепенно разрабатывает и свой **центр речи**, который производит иннервацию **органов речи** и заставляет их «произносить» те или иные «звуки» той речи, которую таким образом усваивает ребенок от окружающих его взрослых.

Вот тут-то в мозгу ребенка и образуются «представления» «звуков» той речи, среди которой он растет. А так как эта речь есть речь **социальная**, принадлежащая данной языковой общине, то именно фактами и явлениями этой речи и насыщается мозг ребенка и его индивидуальные мозговые центры. Все содержимое их есть не индивидуальное изобретение самого ребенка, а продукт данной языковой общины. И если ребенок в первые годы своей жизни еще пытается создаватьвольно или невольно свои собствен-

ные «звук» и другие факты или явления языка, то в по-следующей стадии своего развития он уже вполне подчиняется существующей в его языковой общине традиции и полностью присоединяется ко всем элементам ее языка... и его голове таким образом, так сказать, вполне отображается язык той **социальной среды**, в которой он родился и вырос...

Таким образом все языковые процессы происходят только в индивидуальных человеческих головах и не могут происходить вне их. Но по своему содержанию, о котором будет сказано в следующей главе, они есть всецело продукт соответственной социальной среды и вне той или иной социальной среды не могут появиться и существовать... Что же касается внешних воздушных «звуков», т.-е. механических вибраций воздуха, то они есть только орудие, средство «передачи» мозговых языковых процессов из одной человеческой головы в другую голову. Но надо заметить, что это орудие вовсе не обязательно для такой «передачи», когда в головах общающихся уже выработались и наполнились соответственным языковым содержанием их мозговые центры. Для выработки их оно совершенно необходимо. Но далее оно может быть заменено чем угодно, раз общающиеся условно,—и уже вполне сознательно-условно,—решают заменить воздушные вибрации чем либо иным, вроде сигналов флагами, световыми эффектами, барабанным боем (это очень распространено в Африке), электрическими сигналами и т. п. Как воздух и его вибрации, так и все эти сигналы, очевидно, отнюдь не несут сами в себе никакой «значимости»: одна сторона воспроизводит их, так как им условно дано то или иное нужное значение, другая же сторона их воспринимает, именно как условные сигналы, и в своей собственной голове находит их условную значимость.

* * *

Возвращаясь еще один раз к разбиравшимся в начальных главах этой монографии «естественно-историческому» и «социологическому» направлениям западно-европейской науки

о языке, скажем, что если все изложенное сейчас правильно, то оба эти направления вновь и вновь оказываются безусловно неприемлемыми для истинной науки о языке.

Не говоря уже о том, что они во многом противоречат друг другу и потому не могут существовать совместно, как это есть в действительности и на Западе, и у нас, в СССР, но каждое из них представляет собой «слепую необходимость», не допускающую вмешательства человеческого разума в структуру языка. Нужды нет, что обоснования и объяснения этой «слепой необходимости» в них разные: «естественно-историческое» или «биологическое» направление признает язык как-бы самодовлеющей стихией, чем-то вроде морских или воздушных течений; «социологическое» же направление хотя и признает язык в его основных элементах—знаках-звуках и их значениях—функцией человеческой общественности, но понимает связь между ними как нечто «абсолютно произвольное», или «ничем не (отделить) мотивированное», почему делает вывод о традиционно-исторической неизменяемости языка в порядке сознательного воздействия на него человеческого разума и об его изменяемости лишь в эволюционном, также самодовлеющем порядке (хотя и следующем за всеми изменениями общественности).

В противовес этим сугубо буржуазным языковедческим школам новое материалистическое языкоzнание указывает на новообщественную активность родившуюся на основе новой революционной общественности, функционально следующую за нею и которая, очевидно, не только имеет право, но обязана выявить свое сознательное отношение к человеческому языку в путях его движения к будущему универсальному языку будущего объединенного мирового человечества. А это сознательное отношение именно и сводится к устранению из языка его «исторической слепой традиционности», которая в своем существе есть для всех языков—их классовость, и к превращению ее в строго-научную установленную «свободу» в обладании языком, каковой сво-

бодой члесечество обладает исконно по отношению ко всем остальным орудиям своего физического и умственного труда.

Мы говорим все это и доказываем схоластичность западно-европейской «почившей» науки о языке для того, чтобы, так сказать, «расчистить» дальнейший путь в настоящей монографии и заявить, что если далее будут делаться ссылки на науку о языке, то эти ссылки будут относиться уже только к материалистической Яфетической теории. Все же суждения схоластической западно-европейской науки, очевидно, должны быть совершенно забыты и навсегда для нас погребены!..

VI

Типология языка и их классовость

Теперь переходим к основным вопросам настоящей монографии, а именно к вопросам о типологиях человеческого языка, т.-е. о его различных структурах, и о том, как в зависимости от этих типологий складывается наше мышление. Ибо каждой особой типологии языка отвечает особое строение наших мозговых центров, в которых «укладываются» следы от «фактов и явлений» этой языковой типологии. И так как «факты и явления» своего родного языка ребенок усваивает с детства и они для него обязательны, то соответственно с ними развиваются и соответственные мозговые центры. Последующее изучение другого языка с другой структурой вызывает, естественно, развитие и новых центров, в которых «укладываются» следы от его «фактов и явлений». Жизненный опыт показывает, что можно забыть один язык, но попрежнему оперировать другим, ранее изученным и который, очевидно, проложил себе другую дорогу в мозгу, чем забытый язык.

К вопросу о мозговых центрах мы перейдем в последующих главах. В этой же рассмотрим, как учит Яфетическая теория относительно типологий человеческих языков во всем их земном объеме. Этому вопросу она посвящает свое особенное внимание, тогда как индоевропеистика в общем за-

нимается им чуть-ли не мимоходом, отдавая преимущество свое внимание формальному учению о звуках, о правах языка и т. п. Яфетическая же теория всегда стояла и стоит на том безусловном основном принципе, что «существо человеческой речи—в содержании ее, а не в форме», почему она и требует: «меньше формализма, особенно мистического формализма!»¹⁾

* * *

Первой оформленной стадией развития человеческого языка (или типологий) Яфетическая теория называет **стадию синтетическую, или амфорную**. В ней слова имеют односложный строй (или состоят из одного слога) и никогда не меняют своей формы, с которой они входят в соединения во фразах с другими таким же односложными и никогда не меняющими своей формы словами. Поэтому их взаимоотношения в предложениях определяются их местом в нем, или их взаимоотношениями, и строй этот оттого и называется строем синтетическим, или складываемым.

Таким образом в этой типологии нет ни склонений имевших существительных, прилагательных и пр., нет и спряжений глаголов. Мало того: в ней нет частей речи, как мы их понимаем. Все эти категории опознаются по строю каждой фразы, а не по их внешним знаковым или звуковым признакам. Очевидно, и части предложения (субъект, объект действия и пр.) также не отмечаются внешними, формальными признаками. Одним словом тут все определяется местом слова в предложении и его взаимоотношением с другими словами (т.е. синтаксически). А так как с другой стороны отдельные слова этой типологии могут иметь каждое различные значения опять таки в зависимости от его места в предложении и от взаимоотношений с другими словами, то само собой понятно, насколько трудно разбираться в построениях этой типологии не только лицам других языковых типологий, имеющим, следовательно, и дру-

¹⁾ Предисловие к V тому «Яфетического Сборника».

гую установку соответственных мозговых центров, но даже и лицам, с детства усваивающим язык аморфной типологии.

Для доказательства приведем одну фразу **китайского языка**, который в настоящее время является языком именно этой аморфной или синтетической типологии (с построчным переводом):

жу	—	кин	тсие	на	фу	—	му
как	—	теперь	далее	брать	отец	—	мать
тунг	—	нгай	ни	—	мен	ти	
больной	—	любить	ты	—	группа	относительно	
синг	—	тшанг		све	и	све	
сердце	—	внутренности	сказать	один	сказать		

Чтобы разобрать синтаксически строение этой фразы и понять взаимоотношение входящих в ее состав слов (перевод каждого из них в нужном для данной фразы смысле подписан под ним), для этого надо написать целую страницу.¹⁾ Истинный же ее смысл следующий: «Теперь далее, переходя к горячо любящему вас сердцу родительскому, скажем пару слов об этом предмете».

Не даром же **Сун-Ят-Сен**, отец китайской революции, писал относительно своего языка следующее: «За отсутствием в китайском языке грамматики, выучиться ему — и особенно его письму — чрезвычайно трудно. Кто не будет десятки лет **самостоятельно** рыться в книгах, тот никогда не научится хорошо владеть китайским языком!»

В результате мы видим, что огромные «низы» китайского народа не только неграмотны, но владеют только очень небольшим количеством фраз своего языка, — тех только фраз, которые нужны для их обиходной жизни. Вне же этого они не в состоянии вести никакой беседы. Знание языка — это достояние только ученых людей, если не всю свою жизнь, то значительную часть ее посвящавших именно **самостоятельной** работе над своими книгами.

¹⁾ Фраза взята из соч. А. М. Пешковского «Синтаксис в научном освещении».

Да и то их знания языка так субъективны, что передки случаи взаимного непонимания даже этих «философов», почему они передко принуждены помогать устной речи письменным изложением тех или иных частей ее. Нередки также случаи, когда они, при знании того или иного европейского языка, предпочитают говорить на нем, чем на своем родном.

Причина тому — чисто классовая. Китайский язык — это язык исключительно высших классов, остановленный в своем развитии еще до нашей эры ввиду построения всей жизни Китая по принципам Конфуция, т.-е. на почитании предков и на культе героев. Китаец должна глядеть не вперед, а назад, и слепо, как сын отцу, повиноваться властям. Неповинование старшим и начальству — величайший грех и преступление, караемое самыми тяжкими наказаниями. Ну, а для этого, естественно, самое необходимое — умственная неподвижность и неграмотность. Это и достигалось полной изоляцией Китая от внешнего мира и остановкой духовного развития по принципам Конфуция...

И только теперь Китай просыпается от этого сна и революционно стряхивает с себя путы двухтысячелетней отсталости. Но когда ему удастся преодолеть их окончательно, — предсказать, конечно, невозможно... ¹⁾

* * *

Диаметральную противоположность синтетической идиоматичной типологии представляет **типовогия флексивных языков**, как последней по времени стадии развития. Тут слова точно оформлены и на эту внешнюю оформленность перенесено выражение внутренних соотношений между словами.

1) Однако, если китайский язык есть язык синтетической типологии, то, повидимому, никак нельзя признать его первично-синтетическим, от самого своего происхождения. Эта синтетичность в нем, — как представляется — вторичная, наложенная в результате долгих переживаний и перехода через предшествующие агглютинативную и флексивную типологии, как это сейчас выявляется, например, в английском языке. Иначе отпадает функциональная зависимость китайского языка от общественности его страны...

гачи в предложениях. Тут каждое слово, как говорит Н. Я. Марр, носит в себе значение двух порядков: одно значение—выражение предмета без определения времени и пространства, без указания его связей с другими предметами; другое значение—это выражение именно этих отношений... **Отношения эти, отражая в себе отношения членов общества, в речи выражают взаимоотношения членов предложения**, как выразителей определенной мысли. При этом, помимо означения этих взаимоотношений предметов, путем соответственных видоизменений их выражателей—имен существительных (склонение их), устанавливается еще согласованность слов, имеющих прямое отношение к этим именам, как **согласованность в жизни членов соответственной производственной организации**. Такую же согласованность мы видим и в спряжении глаголов,—согласованность в динамике (действий) и в статике (состояний)...

Таким образом во флексивных языках мы видим внешне выраженную морфологию языка, с оформлением частей речи, со склонением имен существительных и пр., со спряжением глаголов и пр. Вполне понятно, что «сложные потребности формального обозначения общественности имен, с одной стороны выражают предметы, с другой стороны — их взаимоотношения и согласованность, — говорит Н. Я. Марр, — могли возникнуть и возникли только в позднейшие эпохи, в эпохи соответственного развития общественных форм. Потому-то до соответственной ступени развития социального строя не было не только морфологии, не было богатых формальных средств звуковой изменяемости самих слов для выражения взаимоотношений без ущерба для их значения, но не было вовсе так наз. неизменяемых частиц, служащих к увязке отдельных мыслей, отдельных предложений или отдельных слов»¹⁾.

В этих полных глубокого смысла словах еще и еще раз подчеркивается связь между языком и общественностью. Общественность, развивалась на базе материальной

¹⁾ «Яфетическая теория», стр. 54.

культуры и производства, создает известные новые потребности и в области языка. Для удовлетворения этих новых потребностей создаются и новые языковые категории—части речи, части предложения и их внешние (звуковые) выразители. Так для выражения взаимоотношения слов в предложениях (как символов внешних предметов или членов самой общественности) возникла по прямой необходимости **новая категория местоимений**, как заместителей имен вместо их нового повторения¹). И появление местоимений позволило уже и в речи точно изображать (или отображать) сказанные взаимоотношения предметов или членов самой общественности вовне, в самой материальной природе, или в социальной среде...

Как мы видели раньше, в **синтетической типологии** морфологической оформленности совсем не существует. И не существует ее или: а) потому что общественная мысль не осознала еще потребности в грамматических (звуковых) формах и того облегчения, которое эти грамматические формы дают той же общественности при выражении ее мыслей в ее языке (так было в первичной общественности), или б) потому что внешние силы (господствующие классы) в своих собственных целях задерживали развитие и общественности, и ее мысли, и ее языка...

Во флексивных же языках мы видим при развитой и оформленной сословно или классово общественности такую же оформленность и в языках. Но и это (в общем несомненно прогрессивное) явление языка использовано тут в целях **классовой борьбы**, как это мы увидим в следующей главе...

¹⁾ Кстати сказать, Н. Я. Марр связывает появление местоимений с появлением представлений о личной собственности: соответственные слова появляются сначала как собственнические имена и лишь впоследствии перерабатываются в категорию местоимений личного, индивидуального значения («Яфетическая теория», стр. 122).

*
Между этими обеими крайними типологиями существует **средняя типология**, разделяющая их и по времени, и по существу. Она называется **агглютинативной** или **прилепной** (приклеивающей). Ее отличительная черта состоит в том, что в ней существуют так наз. **функциональные слова** или **придаточные частицы**, которые и служат для выражения морфологических категорий своего языка.

Иными словами тут нет тех твердо, органически сросшихся с корнями (основами) **формальных частиц**, которые во флексивных языках выявляют их грамматический характер, как членов предложения и вместе частей речи (т.-е. падежи, числа и пр. в склонениях имен существительных, прилагательных и пр.; лица, числа и пр. в спряжении глаголов). Взамен же этих формальных органически сросшихся частиц в агглютинативной типологии существуют особые **функциональные слова** или **придаточные частицы**, которые выполняют ту же роль, что и формальные частицы флексивных языков, но с тою огромною разницей, что они при этом не перестают сами быть отдельными словами, со своим собственным всегда за ними сохраняющимся значением и с всегда сохраняющейся внешней (звуковой или графической) формой.

Ясна сама собой огромная разница между тем и другим. Ясно вместе с тем, что эта средняя (между синтетической, ей предшествовавшей, и флексивной, за ней последовавшей) типология в языковом смысле есть явление, несомненно, наиболее высокого порядка. Как говорил один из крупнейших филологов Запада **Макс Мюллер**, тогда исторически произошла порча языковой структуры, когда функциональные самостоятельные слова агглютинативной типологии, никогда не меняющие своей внешней формы и своего внутреннего содержания, перешли в только лишь формальные частицы флексивных языков, органически сливающиеся с корнями тех слов, к которым они присоединяются для выполнения своей функции: потеря ими своей

самостоятельности, потеряя своей внешней формы и внутреннего содержания, сопряженная с соответственным непременным изменением тех же сторон в корнях или основах слов, естественно, приводила к тому, что такие органические новообразования являлись уже новыми самостоятельными словами, которые требуют самостоятельного их понимания и изучения. Это несомненный шаг назад и в строе языка, и в его способности к выполнению лежащей на нем роли, т.-е. быть орудием труда, орудием взаимопонимания при общении членов соответственной языковой общины.

Произошло же такое изменение **строктуры языка** в Средиземноморье,—как объясняет Н. Я. Марр,—в ту эпоху, когда выросло употребление металлов и вызвало сильный культурный рост средиземноморских народов. Широкое употребление металлов (особенно бронзы и железа, как твердых элементов, способных к преодолению больших сопротивлений обрабатываемых предметов и к выделке из них более или менее сложных машин) привело к общему ускорению **всего темпа жизни средиземноморских народов**. Повышение же энергии и ускорение общего темпа жизни, естественно, не могли не вызвать такого же повышения энергии и ускорения темпа жизни и в языках. До этой эпохи они были языками медленного речевого темпа, когда слова не говорились, как мы говорим, теперь их а, так сказать, пелись. Таков был характер звукового языка в эпоху первичного его появления в магических ритуальных действиях жрецов, стремившихся, естественно, увеличить влияние на массы этих действ во всех их частях (т.-е. в танцах, музыке, пении без слов и в воспроизведении нового элемента—священных, еще незнакомых дотоле звуков-слов). Так и теперь в церквях всего мира служение совершается не говорением или простым чтением молитв, а или пением их, или произнесением нараспев, речитативом. В синтетических языках интонации всегда должны были играть большую организационную роль, как и теперь в китайском языке речь больше поется, чем говорится. Языки агглютинативные также очень дорожат и теперь т. наз. «аггар-

мопициацией» гласных, т.-е. их уподоблением (гласные окончаний становятся мягкими или твердыми в зависимости от мягкости или твердости гласных корней). В эпоху же перехода этих языков в новую флексивную типологию эта «певучесть» речи была, конечно, еще сильнее развита, чем теперь. Флексивная же типология—типология быстрая и динамичная быстроту речи гораздо больше, чем ее музыкальность,—перешла, естественно, от прежнего **музыкального длительного удара** (удлинение гласных и повторение согласных) к **ударению выдыхательному** (экспираторному), которое стягивает и слова, и предложения в цельные и быстро произносимые единицы простой говоримой, а не певучей речи... Но это, несомненно, должно было сопровождаться «порчей» элементов слов при органическом их слиянии: ценилось слово, как цельная единица, а не его отдельные части с их самостоятельной внешней формой, и с самостоятельным же внутренним содержанием.

Так должен быть понят этот переход от **механической агглютинативности к органической флексивности**. В этом переходе была несомненная прогрессивность. Но был и крупный регресс, так как речь становилась неизмеримо более трудной для ее усвоения и для правильного ее употребления,—особенно для широких масс, не имевших возможности посвящать большого времени для специального изучения своего флексивного языка. И как в общественности эта эпоха экономического расцвета произвела расслоение на господствующие, относительно немногочисленные, классы, которые захватили в свою собственность все орудия и средства производства, и на широкие «низы», обреченные на зависимое и все более необеспеченное существование,—так и в языках «мастерами» речи являлись те же господствующие классы, специально ей учившиеся, а широкие массы оставались с прежней мало продуктивной речью и не могли приобщаться к новой все росшей и развивавшейся культуре...

Однако, этот вопрос настолько важен в области языка вообще, а с другой стороны он настолько решающ в исследуемом здесь предмете, что необходимо осветить его более подробно путем сравнения конкретных фактов и явлений обеих интересующих нас типологий, т.-е. флексивной и агглютинативной.

VII

Сравнение «фактов» типологий флексивной и агглютинативной

В каждом языке есть слова — или части речи, — изменимые и неизменяемые. Так, во флексивных языках изменяемыми словами являются: имена существительные (они склоняются по падежам и числам, но иногда только по числам), имена прилагательные (они склоняются также, как и существительные), глаголы (они спрягаются по лицам, числам, временам, наклонениям и пр.) и т. д. Однако, каждый флексивный язык имеет свои собственные склонения и спряжения, т.-е. свою систему изменения указанных слов. Затем наречия, предлоги, союзы, междометия есть обычно части речи неизменяемые (хотя наречия имеют степени сравнения). В агглютинативных языках изменяемых слов в общем меньше, чем во флексивных: так, прилагательные и числительные в них обычно не склоняются; впрочем, они не склоняются также и во флексивном английском языке.

Во флексивных языках сказанные изменения слов (склонения и спряжение) выражается обычно прибавлением соответственной приставки (окончания или флексии), но зачастую также изменением самого корня или основы слова (т.-е. «флексией» корня или основы). Таким образом слова **тут изменяются дважды: и в корне, и в окончании**. В результате получается новое слово, которое иногда весьма мало похоже на другие соответственные его формы. Так, в русском языке от слова «сестра» мы имеем во множественном

числе «сестры» и «сестёр»; или от «имя» — «имена», «имён» и т. д. В немецком языке часто применяется смягчение коренной гласной и т. п. Одним словом, во многих случаях получаются как-бы новые слова, а не простые изменения по категориям (падежам, числам или лицам, числам и пр.) одного и того-же слова (корня или основы). Особенно это имеет место в спряжениях глаголов. Так, в русском глаголе «быть» мы имеем: «я есть», «ты еси», «он есть»... «они суть», «я был», «я буду», «бывший», «будущий» и т. д. То же самое мы видим и во французском, и в немецком, и в английском языках... Примеры не приводятся, так как они общеизвестны.

Затем, идя дальше, видим, что во флексивных языках окончания падежей (в тех языках, конечно, где падежи выражаются окончаниями, а не предлогами), а равно окончания личные и пр. в глаголах зачастую выражаются **одними и теми-же формами в разных категориях**. Иными словами, разные падежи обоих чисел и разные лица разных времен глаголов имеют зачастую одни и те же окончания. Так, русские женские имена существительные типа «партия» имеют пять падежей с окончанием «ии»: род., дат., пред. ед., имен. и вин. множ. числа. То же самое видим в именах существительных женского рода типа «кость», где также род., дат., предл. ед. числа, имен. и вин. множ. ч. имеют окончание «и». Во фразе «сестра Петра любит своего брата» мы видим окончание «а», как признак имен. пад. ед. ч. жен. рода, и как признак родит. и вин. падежей ед. ч. мужского рода. Но это не мешает ему быть признаком имен. п. множ. ч. в среднем роде имен существительных («озёра»), или признаком женского рода прош. вр. глаголов («любила») и т. д. Во фразе «мы ценим все своим долгим опытом» окончание «им» встречается и в глаголе, и в местоимении, и в прилагательном. А во фразе «мы едим хлеб» слово «хлеб» имеет только корень, и, — как говорят наши грамматисты-формалисты, — выражает свою грамматическую форму своею бесформенностью, т. е. отсутствием всякого окончания.

Мы приводим примеры из русского языка, так как они, понятно, ближе читателям этого труда, чем примеры из других языков. Но, конечно, их можно дать в изобилии и из немецкого языка, который теперь так пропагандируется во многих наших периодических изданиях. Кто изучает этот язык, — сам легко может проверить эти замечания.

Из этого надо вывести следствие, что окончания различных категорий флексивных языков не имеют определенной значимости, или утратили ее, так как несомненно, что они раньше были самостоятельными словами и имели свою определенную значимость. Это и есть то, что составляет «порчу» флексивных языков. Раньше были самостоятельные слова, приставлявшиеся к корням других слов для определения их взаимоотношений в предложениях и имевшие, очевидно, свое собственное значение, но потом они потеряли его и потому ставятся теперь как признаки различных категорий. Это уже не слова, а «мумиеобразные остатки» былых слов, как говорит тот же Макс Мюллер. Наша наука, однако, называет их «формальными частицами», хотя, очевидно, они не заслуживают и этого названия, т. к. не определяют и той формы, для определения которой они прибавляются к корням.

Не распространяясь об этом вопросе далее, можно указать, что именно в этих-то изменениях и корней, и окончаний, в их общей неустойчивости и состоит та «органичность» слияния основ (корней) и окончаний слов во флексивных языках, которую так превозносят лингвисты-индоевропейцы, считая ее огромным достоинством «высококультурных» европейских языков. Но если мы подойдем к этому вопросу с мерилом трудящихся людей, целящих в языках не предвзято и отвлеченно (схоластически) им называемые достоинства, а реальные качества языка, как орудия труда и взаимообщения, то мы придем как раз к обратным заключениям. Если каждое изменение слова дает новую и мало понятную форму, которую зачастую приходится изучать, как совершенно новое слово, то это уже не достоинство, а недостаток языка, ибо изучение и употребление

его становится более трудным и потому менее доступным широким массам¹⁾.

Но все, что излагалось до сих пор, касается собственно **устной стороны этих языков**. Когда же мы возьмем их **орфографию**, то тут мы увидим еще большие «достоинства», или вернее—трудности. Думается, что нет нужды останавливаться на этом вопросе специально и разъяснять его примерами: русская орфография со всеми ее «капризами» известна всем нам; кто хоть мало мальски изучал иностранные языки, тот знает отлично не меньшую их «капризность» в этом отношении. А главное мы все отлично знаем, что во **всех европейских языках устный язык—одно, а письменный—другое, т.-е. говорят европейцы одно, а пишут совсем другое**. Ведь устный язык все время меняется. Письменный же — это языковая традиция, это святыня вдвойне. Тут изменения почти совершенно недопустимы, и языки веками держатся одного и того же правописания, хотя их владельцы отлично сознают всю его архаичность. Так письмо английского языка сохранило свои формы чуть ли не с XV—XVI веков, т.-е. со времени изобретения книгопечатания. Письмо французское также закреплено в XVII веке и с тех пор держится почти без изменений...

В результате подсчитано, что изучение письма английского и французского языка берет у детей их национальностей до 2500 лишних²⁾ учебных часов. Изучение немецкого письма берет около 1.500 лишних²⁾ часов. Изучение русского письма тоже стоит нашим детям до 2.000 лишних²⁾ учебных часов!... И все это

¹⁾ В этом отношении флексивные языки побили всякие рекорды. Так в русском языке слова, обозначающие профессию, образуются прибавлением более чем двадцати разных суффиксов, прислагательные из существительных образуются также более чем 20 разными способами и пр. И так во всех европейских языках — полный произвол и каприз, т.-е. вернее одна „слепая традиционная необходимость“.

²⁾ „Лишних“ сравнительно с тем положением, если бы письмо было фонетическое, т.-е. если бы точно писались те звуки, которые слышатся в устном языке.

при абсолютной иррациональности (можно сказать, бессмыслицности) всех тех «премудростей», которые считаются непременными принадлежностями, «истинной грамотности». Ведь **письменное слово есть только продолжение во времени и пространстве устного слова**. Оно только заменяет его там, где устное слово становится бессильным и недостигающим своей цели. Спрашивается, почему же мы пишем не так, как говорим? Или почему тут недопустимы те общие перемены в языке, которые уже установились твердо и определенно в устном языке?

Конечно, лингвисты (и многие не-лингвисты вслед за ними) сейчас же найдут тысячи оснований для поддержания существующего порядка. Но по существу следует признать, что тут с одной стороны — проявление косности, а с другой стороны — это **особенно ярое выражение классовости в европейских языках** — и больше ничего! Ведь мы отлично уже знаем, что нет языков бесклассовых, — все они классовые! Бесклассовый язык может существовать только в бесклассовом обществе. Орфография же — это именно та сторона языка, которая особенно пропитана классовостью, точнее — духом и идеологией «высших», господствующих классов. Ведь письменный язык есть литературный и «культурный» язык «высших» классов. Ему учат и в жизни, и в школе. Только он считается «правильным», да и не только «правильным», но и «научно-правильным». И кто изучил его, тот — ученый человек. На деле же выходит, что мы надели себе на ноги тяжелейшие кандалы — кандалы притом чисто классового происхождения!

* * *

Не вдаваясь в дальнейшие подробности о флексивных языках, как языках до последней йоты классовых и потому столь трудных для изучения, перейдем теперь к их крупному противоположению, т.-е. к языкам агглютинативным.

Если эти языки также не без классовости, то она в них выражена относительно очень неглубоко. Агглютинативная

тепология отвечает, несомненно, тому периоду человеческой истории, когда образовывались племенные государства, причем господствующие племена ограничились внешним подчинением себе остальных племен, не вторгаясь в их внутренний строй и жизнь. Так было обычно в Азии, а равно и у нас на Руси, как вначале ее существования, так и тогда, когда она очутилась под властью монголов. Естественно, что если это вело к скрещению языков, то слова племенных языков **только механически соединялись между собой**, отнюдь не подвергаясь «органическому» слиянию, как это было во флексивных языках, отвечающих периоду полного подчинения одних народов другим (т.-е. слабых сильным) и образования не племенных государств, а «национальных», где господствующая «нация» буквально расдавливала и поглощала, порабощала подчиненные ей народы.

Для иллюстрации приведем несколько примеров из агглютинативного языка наших **азербайджанских тюрков**, которые, кстати сказать, первые взялись за искоренение у себя **арабской письменности**, — этого **сильнейшего классового орудия в руках мусульманского духовенства**. Эта письменность — нечто вроде стенографии, так как она дает собственно не буквенное письмо, а разнообразно-знаковое, с изменением значения этих знаков от постановки какой-либо точки, или при соединении двух знаков в один и т. п. И вот это-то глубоко классовое орудие теперь в Азербайджане вырвано из рук духовенства. Арабское письмо заменено латинским, буквенным, к тому же неизмеримо более отвечающим строю тюркского языка, чем арабский алфавит. В результате грамотность народных масс стала быстро подниматься вверх... Весьма понятно, что другие мусульманские народы, стремящиеся освободиться от пяты духовенства, также переходят теперь на латинское письмо.

В агглютинативных языках изменяемые слова — только имена существительные, глаголы и личные местоимения. Все остальные вообще не изменяются. Само собой понятно,

насколько это облегчает изучение языка. Ведь согласованность прилагательных или числительных с соответственными существительными, как слов определительных с определяемыми, по существу вовсе не нужна, т. к. она сама собой подразумевается и понимается по смыслу фразы. Поэтому английский язык совершенно устранил эту категорию, что отнюдь не делает его «некультурным» и мало подвижным языком,—наоборот, это одна из важнейших причин легкости изучения его грамматики. Эта согласованность — пережиток старины, пережиток былой «музыкальности», от которой,—как мы видели раньше,—флективные языки вообще отказались. Конечно, если бы эта согласованность была формально проста и легко изучаема (т.-е. правила о ней были-бы немногочисленны и всегда неизменны), то с нею легко было бы примириться. Но когда эти правила многочисленны и крайне путаны, как, напр., у нас или в немецком языке, то защищать их едва-ли рационально...

Взглянем теперь на склонение имен существительных и на спряжение глаголов.

Множественное число имен существительных, или других слов, употребляемых как таковые, образуется при помощи частиц *lar* или *ler*¹⁾. Даже третье лицо множ. ч. глагольных времен образуется прибавлением этой частицы. Так, *adam*—человек, *adamlar*—люди, *dəftər*—тетрадь, *dəftərlər*—тетради, *kara*—черный, *karalar*—черные (предметы), *bir*—один, *birlər*—одни (предметы), *iqि*—два, *iqilər*—двойки и т. д.

Для образования падежей обоих чисел берутся следующие (постоянные) частицы: для род. п. *ып*²⁾, для дат.—*а*, для винит.—*ы*, длятворит.—*ынап* и т. д.

Поэтому слово «bag»—сад склоняется следующим образом:

¹⁾ Буква ө нового латинского алфавита произносится как среднее между э и а.

²⁾ За отсутствием соответственного шрифта, ставится русское ы (соответствующее нужному звуку тюркского языка) и лат. п простое, хотя оно выговаривается здесь как франц. посоеное.

Ед. ч.: им.—bag, род. — bagын, дат. — bagа, винит. — bagы, творит.—bagынап и т. д.

Для образования множ. ч. между корнем bag и окончаниями ед. ч. вставляется вышеуказанная частица lag.

Вот в сущности все склонение имен существительных. Переходим к глаголам. В них неопределенное наклонение кончается всегда на частицу «mak» или «mək»: atmak—купить, vermək—давать.

Повелительное наклонение во втором лице ед. ч. берет один корень глагола (al—купи, ver—давай), а во втором лице множ. ч. прибавляет к корню окончание ып или ып. Так, alyп—купите, verып—отдайте. Можно также образовать третье лицо ед. ч. прибавлением частицы сып или sin и третье лицо множ. ч.—прибавлением его частицы lag. Так, jazzып—пусть он пишет, jazzыпlag—пусть они пишут. Можно образовать также и первые два лица прибавлением соответственных частиц. Следовательно, получается полное спряжение повелительного наклонения по всем лицам, чего совсем нет в «богатом» русском языке... (да и в других флексивных языках)!

Залогов в тюркском языке шесть: действительный, средний, возвратный, взаимный, страдательный и понудительный. Из них действительный и средний — первообразны, то есть не имеют особых примет, кроме вышеуказанных; остальные же образуются из действительного или среднего залогов при помощи своих примет (суффиксов), а именно:

возвратный имеет примету—ып или iп;

взаимный—ыз или iз¹);

страдательный—ыl или il;

понудительный—дыг или dir.

Так: atmak—бросить, atыlmak—быть брошенным, kachmak²)—бегать, kachыzma³—перегоняться (взаимный зал.), iчmək—пить, iчdirməq—заставить пить (понудительный зал.).

¹) з выговаривается как русское ш.

²) Занеимением соответственной буквы ставится по выговору русское ч.

В изъявительном наклонении все времена¹⁾ образуются из основы (корня) глагола прибавлением к ней приставки (суффикса) данного времени, и далее — личных окончаний.

Надо добавить, что если в понудительном залоге повторить частицу дыг или dir два раза, то это будет значить, что между понудителем и понуждаемым есть еще третье посредствующее лицо, через которое и производится понуждение. Какой из «высококультурных» европейских языков имеет хотя бы такое интересное и весьма выгодное свойство «понудительных» глаголов? В них ведь это свойство (понудительность) можно выразить только описательно!..

Чтобы получить **отрицательные формы** **всех глаголов**, перед окончаниями ставится отрицательная частица та или тә (один та перед гласными). Так *үәтмәк* — дать, *үәтмәтәq* — не дать, *јазыгам* — я пишу, *јазтыгам* — я не пишу...

Для наглядности и большей убедительности приведу такую **«картинку» глагольных образований от действительного глагола *сөйтәq* — любить.**

сөвинтәq — любить самого себя (возвратный залог);
сөвізтәq — взаимно любить друг друга;
сөвілтәq — быть любимым (страдательный залог);
сердіртәq — заставлять любить (понудительный залог);
сөвіндіртәq — заставлять любить самого себя;
сөвіздіртәq — заставлять любить друг друга;
сөвізілтәq — быть любимым друг другом;
сөвіздірілтәq — быть принужденным любить друг друга;
сөвіздірілтәтәq — не быть принужденным любить друг друга...

Еще интереснее изучать **словобразование** у тюрков-«иомадов». Тут мы также увидим всё ту же правильность и законность. Так, прибавлением частицы чы или чі образуются имена, обозначающие лиц той или иной профессии (*bostan* — огород, *bostanчi* — огородник, *базмак* — башмак, *базмакчi* — башмачник); приставкой *lak* образуется место,

¹⁾ Одно настоящее, три прошедших, два будущих. Не приводим примеров, чтобы не усложнять текст.

служащее для определенной цели (*otmak*—части, *otlak*—настбище, *kyzak*—место, где проводят зиму, т. е. *kyz*); приставка *stan* служит для образования названия страны (*Firengistan* — Франция от *Fireng* — француз, *Nemsəstan* — Германия, от *Nemzə* — немец) и т. д.

Изложенного достаточно, чтобы оценить драгоценнейшее правило-закон этой типологии: **каждый корень, каждая частица (суффикс), словообразовательная или словоизменяющая, имеет одну звуковую форму и (обычно) — одно смысловое значение.** С этой звуковой формой и с этим смысловым значением они входят затем в разные сочетания, без изменения их. В результате каждое сложное слово и каждое предложение, вообще говоря, есть **сумма входящих в него слагаемых, звуковая (или письменная) форма которых определяет их смысловое значение и наоборот.**

Трудно сомневаться в том, что такая типология есть наиболее отвечающая основной идеи человеческого языка, т. е. вообще — служить средством (орудием) общения с себе подобными. Причем, конечно, чем легче это средство общения усваивается и притом не только отдельными, наиболее развитыми индивидуумами, а именно широкими массами, тем оно больше отвечает своему назначению. Для широких масс самая легкая, всем доступная и всегда одинаковая понимаемость языка всегда была, есть и будет первым важнейшим условием его существования и изучения. И немудрено, что именно эта агглютинативная типология есть самая распространенная на всем земном шаре и проникающая в той или иной мере обе другие основные типологии, т. е. синтетическую и флексивную. Между прочим именно усвоение агглютинативности в английском языке (особенно в глаголе) сделало его грамматику такой относительно легкой — самой легкой из всех европейских языков!..

Что мудреного, что при таких условиях даже непредубежденные «индоевропейцы», сумевшие освободиться от «формальных» шор на своих глазах, отзываются о языках этой категории, как о чудесных явлениях, прямо захватывающих

лиц, их изучающих. Так, известный филолог Макс Мюллер, который с течением своей жизни становился все более и более на правильную, материалистическую точку зрения, говорит об этих языках следующее:

«Чтение туранской грамматики доставляет прямое удовольствие даже не желающему изучать его практически. Остроумный способ, каким образованы грамматические формы, правильность, которая проникает всю систему склонения и спряжения, прозрачность и понятность всего строя языков должны поражать каждого, кто понимает удивительную силу человеческого ума, обнаруживающуюся в языке. Дано такое незначительное число корней, какое само по себе едва достаточно для выражения самых обыкновенных людских потребностей, и ими создается инструмент, которым передаются самые тонкие оттенки мыслей и чувств!.. Тут все единообразно и правильно, все связано и гармонично!.. И всю грамматическую жизнь мы можем наблюдать, как созидание ячеек в стеклянном улье... Один превосходный ориенталист заметил: «туранские языки можно вообразить результатом совещания общества отличнейших ученых мужей». Но никакое подобное общество не могло бы выдумать того, что произвел человеческий дух, предоставленный самому себе в татарских степях и руководимый своими врожденными законами и инстинктивной силой, столь же удивительной здесь, как в каком-нибудь царстве природы!»

* * *

Сделаем теперь вывод из изложенных данных о всех трех основных типологиях языков.

Мы знаем, что **все языки—классовые** и что **внеклассовых или бесклассовых языков в классовых обществах быть не может**. Их **типологии, очевидно, также запечатлены классостью**. И эта классость, очевидно, выражается тем, насколько каждая из них **объективна или субъективна**, или, другими словами—насколько каждая из них проникнута **закономерностью** или, наоборот, насколь-

ко она, так сказать, «произвольна и капризна» в своих построениях. Раз язык возник из потребности общения и представляет собой соответственную систему «звукозначимостей», то чем эта система стройнее, т. е. чем она правильнее и проще—или закономернее—построена, тем она больше отвечает своему предназначению (ибо тем легче она усваивается и используется широкими массами). Наоборот, система сложная, лишенная закономерности, т. е. проникнутая «произволом и капризами» всяких сочетаний, есть система глубоко классовая, неприспособленная к широкому распространению и требующая для своего усвоения большого и специального труда.

Подходя с этой **объективной** точки зрения ко всем трем основным типологиям, мы неизбежно должны признать, что **типовогия синтетическая или аморфная, есть наиболее классовая**, как наиболее субъективная или наименее обеспечивающая легкое ее усвоение и легкое понимание. Как говорил Сун-Ят-Сен, китайский язык можно постигнуть только путем долгого **самостоятельного** изучения по книгам. Само собой понятно, насколько субъективен должен быть результат такого самостоятельного изучения и насколько мало он обеспечивает общее понимание. Факты, действительно показывают, что китайский язык весьма мало доступен широким массам, и что они обходятся несколькими сотнями отлившихся обходных фраз.. И только «ученые», т. е. хорошо обеспеченные люди, могут изучить этот язык в достаточно широкой степени для свободного чтения, письма и беседы.

На следующей ступени стоит типология флексивная. Впереди довольно подробно указаны основные трудности структуры в языках этой типологии. Главное тут—**разрыв между формой и значимостью**: форма (корни и аффиксы) не характерна для значимости; форма — многозначна, или, что все равно, — не имеет определенной значимости. Значимость имеют или слова, или даже целые предложения, которые и надо, так сказать, расшифровать для того, чтобы узнать их точный смысл, или значение.

Очевидно, тут нет речи о закономерности, нет прямых и твердых, проникающих всю систему языка, правил. Все построено на небольших обобщениях и затем на исключениях из этих обобщений, причем нередки исключения и из исключений... Ясно, что и тут нет объективности в языках, нет наглядности в их структуре. Наоборот, все спутано, все субъективно и требует массы времени и труда для усвоения всех этих «особенностей» флексивных языков. Одним словом, и тут ясна классовость строения языков, как это, впрочем, и должно быть, ибо европейские литературные языки, по их происхождению, есть языки «высших» господствующих классов... Отсюда—их субъективизм, сложность конструкции и, следовательно, трудность для усвоения,—особенно когда речь идет о мало подготовленных широких массах.

Третья из этих типологий,—**типовология агглютинативная**,—есть, несомненно, самая объективная и потому самая легкая для усвоения ее широкими массами. В ней (даже в ныне существующих языках, все же допускающих не мало исключений) нет разрыва между формой и ее содержанием ни в корнях, ни в словообразовательных и словоизменяющих частицах. Очевидно, эта **наглядная типология есть наименее классовая и наиболее доступная широким народным массам**. Факты жизни вполне подтверждают эти теоретические выводы. Если же языки этой типологии не дали до сих пор (даже турецкий) крупных литератур, то причиной тому отнюдь не строение языков и неспособность к широкому культурному развитию их хозяев, а «колониальное» положение соответственных народов!.. Впрочем, венгерский и финский языки имеют уже и теперь большую литературу в разных областях жизни и науки...

VIII

Типологии и мозговые центры

На том, что изложено в предшествующей главе, мы могли бы и покончить общую часть этого исследования и

перейти к решению намеченного темою этого труда специального вопроса: «**почему эсперанто, а не иностранные языки?**». Ибо материалов накопилось уже достаточно для вполне точного и объективного ответа. Однако, мы попытаемся осветить данную тему еще с той стороны, с которой ее вообще освещают очень редко и притом далеко не полно. Придется построить для этого даже некоторую **рабочую гипотезу**, подвергнув ее суд у компетентных читателей. Но так как и в этом отношении у меня собрано не мало интересных данных, и так как с другой стороны намечаемый вопрос сам по себе очень важен, и от правильного решения его зависит проведение **границ между социальным и индивидуальным в человеческом языке**, то я не могу воздержаться, чтобы не высказаться и в этом направлении.

Вопрос в том, как тот или иной язык, или язык той или иной типологии, укладывается в нашей голове? Ведь все человеческих голов никаких составных элементов языка нет: все эти элементы без остатка помещаются в наших головах! Головы же наши, несомненно, индивидуальны. Каким-же образом в них укладывается глубоко социальное явление, как язык, и каким образом это глубоко социальное явление сочетается там с индивидуальной нашей психиатрией? Вопрос, несомненно, чрезвычайно интересный, можно сказать, краеугольный в проблеме человеческого языка вообще. Его необходимо, конечно, рассмотреть в большом и специальном исследовании, коснувшись и истории вопроса... Но наметить две-три основные черты возможно и в этом более конкретном труде.

* * *

Анатомия человеческого мозга установила, что ребенок рождается с неразработанными мозговыми центрами. Первые клетки—все налицо, но они не специализированы и, естественно, не наполнены «содержанием». И лишь постепенно, путем обучения, происходит разработка мозговых центров и наполнение их всем тем, чем потом человек живет до своей смерти (конечно, постоянно обновляя и по-

полняя сделанные в детстве «запасы»). Вместе с этим растут и развиваются и самые клетки, вступают между собою в более тесное общение и т. д.

Очевидно, в выработке мозговых центров и в наполнении их должным содержанием чрезвычайно большую роль играет **орган слуха**. Огромную массу своих знаний об окружающем мире ребенок получает не от непосредственных своих впечатлений, а от окружающих людей **через язык**. Весь опыт предшествующих поколений он не может воспринять иначе, как от окружающих людей через их рассказы, а потом—из книг и пр. И вот тут-то строй языка, его типология являются теми очками, или той призмой, через которые, преломляясь в них, проникает в детскую голову (а потом и в голову взрослого) весь опыт предшествующих поколений...

Точно также очевидно, что, прокладывая себе путь в детской голове и заполняя ее следами «слуховых переживаний», каждый язык идет именно той дорогой, которая соответствует строению данной головы. Но так как мозг людей в основе устроен совершенно одинаково (в смысле анатомии его), то нужно думать, что и тот путь, которым идет язык данной типологии в одной голове, одинаков с путем, прокладываемым им и в других головах. Ясно, что не только то «содержание», которое получают детские головы, но и самая разработка тех или иных центров мозга есть почти всецело дело общественности. «Почти всецело», но все же «не совсем». **Каждый мозг имеет свои индивидуальные способности**. А с другой стороны ребенок и сам воспринимает свои собственные зрительные, слуховые, осязательные и пр. впечатления от окружающих его предметов. Все это попадает в те же центры и объединяется с впечатлениями, полученными через окружающих людей и при помощи языка. Там идет вечная диалектическая борьба непосредственно воспринятого и внушенного общественностью. И что тут побеждает,—это зависит от бесчисленных обстоятельств, учесть которые зачастую не в состоянии и сам «восприниматель» (даже взрослый человек).

Подходя ближе к нашей непосредственной теме, отметим, что в области языка у ребенка разрабатывается прежде всего **слуховой центр**, о котором уже говорилось раньше и в котором запечатлеваются следы «звуков» языка указанного раньше путем. Эти следы, все накапляясь и нарастаю, образуют, наконец, то, что наука назвала **«фонемой»** соответственного «звука» — той фонемой, той средней равнодействующей, которая собственно и есть звук в истинном смысле этого слова, как это объяснено раньше. При этом в выработке ее принимает участие и речевая деятельность самого ребенка, в виде впечатлений от его собственных попыток произнести тот-же самый «звук», который воспроизводят окружающие люди.

Анатомия человеческого мозга установила, что названный центр, открытый ученым Вернике, находится в задней части первой височной извилины. Суть его работы заключается в том, что он «опознает» вступающие в него **«внешние звуки»**, или как говорят, — «апперцептирует» их. Понятно, он может сделать это только тогда, когда эти новые «посетители» уже знакомы ему, — совершенно также, как мы узнаем наших знакомых по их внешнему виду и по другим уже готовым признакам и не можем «опознать неизвестных» за отсутствием в нашем мозгу их образов. Эти-то ранее **образовавшиеся образы тех или иных «внешних речевых звуков»** и есть их **«фонемы»**. По существу же, как сказано, они-то и есть истинные звуки, ибо вне человеческой головы никаких «звуков» не существует, а есть только механическое движение воздуха (вибрация его).

Так как вопрос образования «фонем» очень важен в учении о языке вообще, то необходимо еще подробнее остановиться на нем.

Когда в детские годы мы вслушиваемся в речь взрослых, мы постепенно начинаем абстрагировать из нее ее основные элементы, пределом которых являются именно отдельные артикулированные «звуки». Прослушав бесчисленное число раз известные слова, мы начинаем привыкать

к ним, сами пытаемся произнести их и таким образом (совершенное бессознательно) запечатлеваем все их элементы в нашем мозгу. Отдельные артикулированные звуки запечатлеваются, видимо, именно в слуховом центре Вернике, который таким образом, во-первых, и сам разрабатывается (как уже сказано выше, у детей все мозговые центры находятся в зачаточном состоянии и развиваются только постепенно), а во-вторых, наполняется отпечатками или следами этих артикулированных звуков речи. Из них то и образуются постепенно сказанные фонемы, как средние равнодействующие от всех слышанных дотоле соответственных «звуков», а равно от наших собственных попыток выговорить эти же самые звуки и от соединенного с этими процессами **слушания их**, в нашем собственном их воспроизведении.

Раз-же это так, то, очевидно, как разработка этого, — скажем, — **«фонемного центра»**, так и наполнение его отдельными фонемами есть не личное индивидуальное творчество ребенка, а творчество данной общественности, работающей над ребенком в лице его родителей, его семьи, знакомых и т. п. Поэтому же если бы этот ребенок попал в другую социальную среду, то его **«фонемный центр»** разился бы совсем иначе и получил бы иное **«фонемное»** наполнение... Перевезите русского ребенка после его рождения во Францию, и он усвоит себе звуки французской речи, а не русской, а его центр Вернике получит то развитие, которое необходимо для изучения не русского, а французского языка. Это будет уже продукт **не русской, а французской общественности**.

С другой стороны, так как говорить ребенок учится сам, — никто ведь не показывает ему, как надо сложить губы, как положить язык и пр. для произнесения того или иного «звучка» (т. е. для воспроизведения того или иного «потрясения воздуха»), — то вычука его и в этом направлении идет через фонемы. Он стремится осуществить уже сложившиеся в его мозгу фонемы, проверяя свое воспроизведение их и **по своему слуху**, и по впечатлениям на окружающих лю-

дей. При этом вначале он постоянно ошибается, его поправляют... Но мало по малу он привыкает по слуху воспроизводить именно то, что нужно. Тогда фонемы складываются окончательно, и вступающие в слуховой центр новые «звуки» легко опознаются, раз они оказываются «старыми знакомцами».

Одним словом, с какой стороны ни подойти к «звукам» человеческой речи, оказывается, что он, во-первых, есть наше внутреннее мозговое явление (а не внешнее, физическое, как говорит «естественно-историческое» направление), а во-вторых, он есть прямой и непосредственный продукт социальной среды, почему и должен быть расценен именно, как таковой. Всякая иная его расценка—ложная и, следовательно, вредная и теоретически, и практически.

* * *

Относительно изложенного до сих пор, едва ли возможен какой-либо принципиальный или практический спор. Но относительно дальнейшего нужно предварительно сделать некоторую оговорку.

Совершенно минуя так наз. «психологическое» направление, которое представляет процессы нашего мышления как нечто сверхчувственное, как извне дарованную человеку трансцендентную способность,—нам необходимо остановиться на так наз. физиологическом направлении, которое так рельефно сказалось в рефлексологии академиков Павлова и Бехтерева.

Не говоря уже о том, что они оба, уча об одном и том-же, т.-е. устанавливая взгляд, что все высшие проявления человеческой природы и в частности его мыслительная способность есть только лишь чистая физиология, они сами в тоже время значительно разошлись между собою и в методах, и в выводах. Необходимо признать, что они оба стоят на той-же «механистической» точке зрения, на которой стоял раньше «вульгарный материализм» второй половины XIX века (Бюхнер, Фохт, Молешотт) и которая

безусловно отрицалась основоположниками научного материализма, Марксом и Энгельсом. Их учение также не исторично, не диалектично и не учитывает последовательно и всесторонне сущности человека, как «совокупности всех общественных отношений» (определение Маркса). Их учение связывает человека только с его животным (физиологическим) «прошлым» и совершенно не учитывает его социального прошлого, настоящего и будущего. Это учение игнорирует ту грань, которая существует между физиологическими направлениями организма и явлениями интеллектуального поведения человека. В частности школа Павлова претендует, на основе изучения явлений слюнной собачьей железы, объяснить движение и рост человеческого разума и человеческой культуры. А это возможно только тогда, когда мы учтем также и то, что именно и отличает человека от животного, т.-е. все ту же его «социальную сущность» с ее революционной практической деятельностью...

Сверх того, если рефлексологическая школа настаивает на том, что материалистическое учение непременно «сводится на пространственные отношения, на определение путей, по которым распространяются и собираются раздражения» или, вообще те или иные явления, то в ответ ей истинно материалистическая школа (отнюдь не отрицающая «идеального», но лишь утверждающая, что «идеальное есть материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»¹⁾, отнюдь не отрицающая и психики, но лишь утверждающая, что «психика, сознание и т. д. есть высший продукт материи, есть функция того особо сложного куска материи, который называется мозгом человека»¹⁾) — истинно материалистическая школа говорит, что и психические явления есть также явления пространственные и совершающиеся во времени, так как они есть только лишь «свойство высокоорганизованной материи человеческого мозга, свойство, обладающее такою же степенью реальности, как и всякое иное свойство материи, например движение». Поэтому «если

¹⁾ Слова Маркса, Энгельса и Ленина.

мы хотим изучать действительное поведение живой конкретной личности, то мы должны учесть обе ее стороны — и объективную, и субъективную, ибо в каждой реакции живого организма обе эти стороны являются неотделимыми друг от друга. И мы можем говорить лишь о взаимоотношении психики, как одного из свойств высокоорганизованной материи, к другим свойствам той-же материи, напр. к движению... причем объективная сторона всегда определяет субъективную, бытие определяет сознание... Взаимоотношение же субъективной и объективной сторон организованной материи следует определять, как функциональную зависимость, где независимым переменным является объективная сторона, а зависимым переменным — субъективная»¹)...

По этой причине нам нельзя остановиться на рефлексологии, как основном учении о поведении человека. Вместо рефлексологии должна быть взята реактология, которая, впрочем, никак не отвергает учения о рефлексе вообще, но лишь покрывает его учением о реакции человеческого организма на явления внешней природы. Эту реакцию она объясняет, как «основную и единственно первоначально данную форму жизненного проявления, как координирование раздражения всего живого организма и ответного на него движения,—координирование, охватывающее все формы проявления организма в отношении окружающей среды... Реакция — это явление сложного порядка, основными определяющими моментами которого являются три следующие: сенсорный, как раздражение воспринимающего органа, центральный, как процессы в центральной нервной системе, и моторный, как импульс двигательного характера... Реакция — это единое целое, заключающее в себе и восприятие, и его переживание, и его переход в движение, чем объясняется весь активный характер поведения человека, ибо каждая реакция по самой природе своей есть нечто активное, деятельное... Вообще

¹) «Психология и марксизм», сборник статей, 1925, статья проф. Корнилова, стр. 18 — 20,

жизнь в органическом мире есть ничто иное, как совокупность реакций, а каждая реакция есть в той или иной форме взаимодействие живого организма с окружающей средою. Можно сказать также, что каждая реакция этого организма есть разряд его первой энергии, приобретающий особый специфический характер, называемый нами «психикой»¹).

Именно этими реакциями первой энергии живого организма на акции (раздражения и ощущения) от внешней природы устанавливается связь между обеими сторонами и происходит то понимание, путем которого организм воспринимает и осмысливает, осознает получаемые им извне акции. Этим именно путем наш организм отвечает на внешние «звуки», создавая в своем слуховом центре, — как мы это видели выше, — свои собственные субъективные или истинные звуки, называемые «фонемами». А далее, в ответ им-же, он создает из фонем морфемы и последующие психические единицы, как мы это увидим из дальнейшего изложения...

* * *

К. Маркс сказал: «Философы лишь объясняют мир так или иначе, а дело заключается в том, чтобы его изменить».

В этих словах заключена глубокая истина. Только та современная наука цenna и дает серьезные плоды, которая освещает человечеству путь вперед и помогает ему в борьбе против классовости. Естественно, и психология, и лингвистика только тогда превращаются в настоящие науки, когда они поставлены на истинно материалистические ноги, т.-е. ни с какой стороны не оторваны от жизни и на базе прошлого и настоящего дают соответственные выводы для будущего. И выводы притом не только теоретические или академические, но и практически используемые для борющегося пролетариата...

¹) По книге проф. Корнилова. «Учение о реакциях человека», 1927 г. стр. 1—4.

И вот, подходя с этой стороны к рефлексологии в обоих ее течениях, необходимо признать, что эта безусловно чрезвычайно важная и полезная область знания, при всей массе даваемого ею истинно ценного материала, все-же оторвана от жизни, оторвана от подлинной базы изучаемых ею явлений. Эта база отнюдь не в физиологии не только собаки, но даже и не в физиологии отдельных человеческих особей. **База психологии — в социологии.** И только тот биолог стоит на правильном пути, который, впервые, изучает явления человеческого мозга не только с физиологической точки зрения, но и с точки сопутствующей ей и с ней функционально-нераздельной психики, и который, вовторых, постоянно считается при этом с основным источником биopsихологии, т.-е. с социологией. Именно с этих двух точек зрения настоящее исследование подошло к вопросу о звуке нашей речи и к его «фонеме». И только поэтому можно полагать, что этот вопрос разрешен в нем с возможной правильностью. Очевидно, с этих-же точек зрения надо подходить и к исследованию поставленного в настоящей главе вопроса о связи между типологиями человеческого языка и его мозговыми центрами.

И вот тут-то рефлексология, вместо помощи, приносит прямой вред своими чрезвычайно упрощенными толкованиями того, что составляет истинную сущность человека, что собственно послужило орудием для формирования человеческой общественности и затем для образования на базе этой последней всей его идеологии. Только благодаря изобретению человеком его звуковой речи, он стал способным к отвлеченному логическому мышлению, и только благодаря этому мышлению, он в состоянии, как говорит Маркс, «прежде чем построить что-либо материально, построить тоже самое в своей голове — идеально, в своем представлении. При этом он не только изменяет форму того, что дано природой, но в том, что дано природой, он осуществляет свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинить свою волю». И вот эти высшие спо-

собности человека, этот его разум, это его сознание, которыми он подчиняет себе не только окружающую природу, но и «игру сил и способностей, дремлющих в его собственной душе», — все это признается рефлексологией продуктом простого условного рефлекса, хотя и приобретенного при жизни выучкой, но потом, очевидно, обращающегося в безусловный рефлекс, который уже должен передаваться по наследству!..

Мы отлично знаем, откуда берется **человеческий разум или его сознание**. Мы, конечно, не хуже рефлексологов понимаем, что он не дан человеку извне, «богом», или иными внешними, трансцендентными «силами». Мы знаем, что он выработан **человеческой общественностью** в процессе ее борьбы с окружающей природой, в которой эта общественность изменяла как эту внешнюю природу, так и свою собственную природу и более всего — **свой собственный коллективный разум**, который появился первоначально в ней также в процессе этой борьбы, как главнейшее ее приобретение, и который предопределил всю дальнейшую судьбу человечества.

Только при посредстве этого своего разума, как главнейшего своего орудия производства, насыщенного всем социальным содержанием всех предшествующих поколений, современный человек создал свой пынешний технический аппарат, который служил с одной стороны целям экономического производства а с другой стороны — специальной цели „оборудования“ — при помощи химических физических и иных сооружений — нашей познающей, отображающей внешнюю природу и организующей деятельность; так что в результате мы получаем не только идеологическую надстройку, в смысле совокупности идеологий, находящихся в мозгу отдельного человека, но и самую подлинную материальную надстройку над производством в виде научно или идеологически обусловленных **искусственных средств научного исследования, художественного творчества, морального воспитания и организованного воздействия**.

Все это создал социализированный, обобществленный человеческий разум, все идеологическое содержание которого приобретено активною борьбою с окружающей природою всех предшествующих поколений и выросшим из этой борьбы их материально-идейным опытом. Этот опыт создал современному человеку «вне его организма, во внешнем мире и при помощи внешнего мира, т.-е. экономически... весь нынешний грандиозный механизм познания, отражения, связи и организации», что совершенно недоступно остальным животным, которые «создают свои технические и сигнальные приспособления в самих себе, т.-е. биологически, и которые противопоставлены среде непосредственно сами, как основное оружие борьбы и приспособления»... Этую разницу объясняется как громадный прогресс человеческого производства, так и исключительная пластичность человека в его борьбе за существование. Только освободив свой организм от служения простым непосредственным орудием для борьбы с окружающей природою и став на путь изобретения изумительных искусственных орудий, продолжающих его организм вовне, только таким путем человек пришел к поразительному развитию своего мозга, как центра регулирующей и творческой деятельности. «Не просто руки создали мозг, а руки, освобожденные от необходимости служить единственным специальным орудием одной какой-либо специальной функции. И не потому мозг оказался в состоянии работать с таким совершенством, что он стоит в центре рефлекторной дуги, а потому что он создал, в помощь своей памяти, память искусственную, также как снабдил свое зрение стеклами, а свое исследование — книгой, библиотекой, музеем и лабораторией»... ¹⁾.

Но если человек оказался способным на такое исключительное развитие, то, — повторим еще раз, — только в виду изобретения им звуковой речи, — этого «орудия производства всех его орудий производства». Н. Я. Марр

¹⁾ Статья проф. М. А. Рейснера «Социальная психология и марксизм», в сборнике «Психология и марксизм», стр. 34 — 41.

называет,—как мы уже знаем—звуковую речь «чудом», хотя в тоже время добавляет, что «в этом чуде не было ничего случайного». Можно было бы сказать, что это—«чудо из чудес», то «чудо», над истолкованием которого до сих пор тщетно бились мудрецы всех предшествующих поколений и которое только теперь в нашем материалистическом мире получает правильное определение и надлежащее место в социальной жизни человечества и среди всех его идеологий, как самая основная из них, как их главный базис, так как она то и есть *alter ego* того, что мы называем человеческим разумом и человеческим сознанием...

А нам внушают чрезвычайно упрощенное понимание этого «чуда». Нам говорят, что «речь первоначально развилась в связи (?) с мимикой и жестами, в виде рефлекса, как дополнительная функция к функции дыхательных и жевательных мышц (?). От функции дыхания, в связи с большим или меньшим сокращением голосовых связок и различным раскрытием полости рта, она заимствовала гласные звуки, от функции жевательных мышц—все то разнообразие движений языка, губ и мягкого неба, которое необходимо для произнесения согласных звуков»¹⁾.

Вот к каким «упрощенным» выводам приводит предвзятая «упрощенная»-же общая точка зрения. И хотя дальше человеческая речь и признается «крайне сложной суммой условных речевых процессов», но все же «общая схема образования этого условного рефлекса» объясняется чрезвычайно просто: «к тому или иному безусловному раздражителю (предмету) присоединяется (?) условно-речевой раздражитель в виде той или иной системы звуков»¹⁾...

Мы отлично знаем теперь, как в действительности образовалась человеческая речь в процессе труда из первичной ручной речи и в ритуальных действиях первичных хозяйственных коллективов. Мы знаем, каким многомилионно-

1) Учение школы Бехтерева. Цитаты по соч. проф. Н. А. Артемова «Общие основы рефлексологии» 1925, стр. 194.

длительным упражнением своих внутренних мозговых средств (а не только дыхательных и жевательных мышц!) человек пришел от первичных звуковых комплексов к членораздельным гласным и согласным, а главное—к связи этих «звуков» с приданым им условным содержанием или смыслом, причем «звуки» обратились в знаки-носители сказанного содержания или смысла. Учения рефлексологов подкупают своей внешней простотой и физиологической «ясностью». Но при этом забывается, что **физиология**—это прежде всего—отдельная человеческая особь, это индивидуум, а речь, мышление и пр.—это уже явление социальное, только лишь, так сказать, пожизненно предоставленное в пользование отдельных индивидуумов (хотя вне этих индивидуумов и не существующее)...

* * *

Исходя из тех-же «упрощающих схем» рефлексологии, школа Павлова, по своим наблюдениям над собаками и целиком перенося эти наблюдения и выводы из них на человека, упраздняет понятие особых **ассоциационных центров в мозгу человека, или центров сознания**. Вместо этого она устанавливает понятие только лишь прямых чувствующих и двигательных центров, как анализаторов человеческих восприятий и истоков его реакций на эти восприятия. При этом забываются или упраздняются даже непосредственные анатомические данные, устанавливающие огромную разницу между чувствующими и двигательными центрами с одной стороны и названными **Флехсигом**¹⁾ **ассоциационными центрами**, место для которых определено в лобной, в теменной и височной областях головного мозга человека. Ведь эти центры не имеют тех проекционных волокон, которые связывают чувствующие и двигательные центры с перipherией организма; они связаны только между собой и с центрами чувствующими и двигательными

¹⁾ Немецкий ученый, психиатр. Главный труд (1876 г.) посвящен изучению функций мозга.

так наз. ассоциационными волокнами. Очевидно, роль и назначение этих участков мозга (которых, кстати, сказать у человека до двух третей всей коры мозга) совсем не та, что центров чувствующих или двигательных. Их цель — внутренняя, осознавательная, дифференцирующая по отношению к тем ощущениям, которые чувствующие центры доставляют в мозг, и распорядительная по отношению к тем «приказаниям», которые получают двигательные центры.

Учение об иррадиации¹⁾, блестяще развитое рефлексологией, нисколько не противоречит учению об особом существовании специальных ассоциационных центров. Наоборот, оно прекрасно поддерживает это учение. Ибо когда при жизни вырабатывается тот или иной качественно новый «материал ассоциаций», выработка его идет именно путем иррадиации и не может идти иным путем. Но когда он закрепляется, как качественно новый фактор мозговых процессов, то это закрепление его производится не путем «прикармливания» как в опытах Павлова с собаками, а путем «социального осознавания» этого нового полезного фактора и закрепления его постоянными общественными упражнениями..

Не противоречат ему и опыты Павлова над удалением соответственных частей мозга собаки, когда оказывалось, что собака если и проявляла вначале большие расстройства в своем поведении, то впоследствии обычно восстанавливалась (но все же не всегда и не во всех случаях) это свою «психическую» деятельность: ведь все же в конце концов эти опыты производились над собаками, не обладающими той лобной частью мозга, которую имеет человек, равно обладающими не идентично развитыми остальными частями мозга, как это видно даже при одном поверхностном взгляде на мозг собаки и человека. С другой же стороны опыты Бехтерева над людьми давали далеко не те категорические заключе-

1) Т.-е. об автоматическом распространении полученных чувствующими центрами восприятий от внешних раздражителей.

ния к отрицанию существования особых ассоциационных центров, как опыты Павлова над собаками. И выводы Бехтерева более в пользу этого особого существования, чем в обратную сторону...

Однако, этот вопрос слишком важен и сложен, чтобы его трактовать мимоходом. Окончательно этот спор можно разрешить только тогда, когда на помощь физиологии придет лингвистика. Только лингвисты могут точно и определенно сказать, что такое человеческое мышление, неразрывно связанное с человеческой речью, — настолько неразрывно, что их необходимо, — как мы увидим из последующего изложения, — признать даже не двумя сторонами одного и того же процесса, а одним и тем-же цельным и единым, нигде не расходящимся процессом.

Однако, и сама лингвистика, никогда пристально и последовательно не останавливалась на этом краеугольном вопросе человеческой биopsихологии, почему особо необходимо остановиться на этом вопросе здесь, для чего прекрасную почву и составляет проводимая тут параллель между типологиями человеческого языка.

* * *

Рассматривая язык и его отдельные структурные элементы, мы отличаем в нем прежде всего **две резко отличные категории**: с одной стороны — «**звуки**» (т.-е. собственно, как мы уже видели, «**фонемы**»), не имеющие условно-языковой значимости и потому являющиеся только лишь «**строительным материалом**», 2) с другой стороны — **значимые элементы**, обладающие специальным языковым смыслом. О первой категории нам говорить больше нечего: раньше о ней сказано достаточно подробно. О второй-же надо сказать следующее.

Эта сторона человеческого языка в свою очередь **наличественно многоразлична**: различна она и по своей, так сказать, материальной структуре, различна и по отношению к тому, что мы должны назвать **социальной** и

индивидуальной основой языка. Ибо в языке,— этом в исходе исключительно социальном явлении,— огромную роль играет физиологическая индивидуальность его отдельных носителей. И она, конечно, не может не играть этой роли, так как ведь в конце концов язык всегда и везде укладывается только в анатомически и физиологически индивидуальных головах и не может иметь никакого иного «помещения». Следовательно «переплет» социального и индивидуального в языке органически необходим и неизбежен. И вот тут-то типология языка оказывается во весь свой рост и оказывается тем дирижером, который управляет всеми языковыми процессами, являющимися по существу процессами «мыслительно-речевыми» или «рече-мыслильными», так как, повторяю, это есть единый процесс и отделить речь и мысль, полагая их различными факторами человеческой психики, никоим образом невозможно.

Каковы-же те категории, на которые распадаются элементы второй стороны языка, или его «звукозначимости» (вернее сказать — «фонемозначимости»)?

Этот вопрос необходимо проследить по тому составу языка, который называется «агглютиративным», и в котором все эти категории выявлены с полной ясностью.

Тут прежде всего мы видим «морфемы», или биопсихологические единицы, отвечающие тому, что в языках «внешних» называется корнями и аффиксами. Эти «звукозначимости» являются основными строительными единицами уже подлинной человеческой «рече-мыслительной» деятельности или человеческого языка. Тут мы видим и первичный строительный материал: а) фонемы отдельных «звуков», как остав морфемы, и б) условный смысл, присвоенный в данном языке уже именно данной морфеме, как сочетанию ряда первичных «звуков» или фонем. Таковы, например, в русском языке морфемы: «из» — префикс; «стол» — корень; «ами—ями» окончание имен существительных в творительном падеже множественного числа; «ах — ях»

окончание тех-же имен в предложном падеже множественного числа и т. д.

За морфемами идут уже **качественно** от них отличные элементы — «цельные слова», слагающиеся из морфем и отличные от них именно тем, что они имеют знаменование **цельных единиц речи** в предложениях. Морфемы отдельно в речи не употребляются (если-же и употребляются, то они также становятся отдельными словами, вроде префикса «из», который может быть и предлогом «из»). Наша речь (в основе, идеино) состоит не из них, а из отдельных слов. Этот элемент возможно было бы называть «**словами-символами**» или просто «**символами**», так как именно они-то и являются в нашем «внешнем» языке, в нашей «внешней» речи ее основным конструктивным целью «символическим» материалом, тогда как морфемы служат собственно строительным материалом «**внутреннего**» рече-мыслительного языка. С другой стороны это название «слова-символы» есть термин, усвоенный психологическим направлением лингвистики, еще со времен Вильгельма Гумбольдта¹⁾. Наш-же русский лингвист-психолог А. А. Потебня называл эту категорию языка «ближайшим содержанием» слова.

Тут необходимо сказать несколько слов относительно того, что же такое «ближайшее содержание» слова (или «внешняя форма» по западно-европейской терминологии) и «далнейшее содержание» его (или «внутренняя форма», по той-же терминологии).

¹⁾ Этим же направлением введены понятия о «внешней» и «внутренней» форме слова. В. Гумбольдт говорил по поводу различия этих форм, что «слово возвращает в каждом человеке различные мысли и чувства, и потому всякое понимание есть в тоже время непонимание». Психологи нелингвисты часто не понимают этой разницы. Так З. И. Чучмарев в статье «Рефлексология и реактология» (в сборнике «Психология и марксизм», говорит: «Слова понятия или их связи настолько верно выражают основное ядро психического переживания, что они служат незаменимым средством взаимного понимания людей в их общественной жизни». Под «словами-понятиями» тут разумеются слова-символы с их «ближайшим содержанием». А они иногда даже в контакте далеко не сразу выявляют даваемое им говорящим индивидуальное значение.

«Ближайшее содержание» слова (или его «внешняя форма», или, наконец, «слово-символ», или просто «символ») — это есть принятное в данном конкретном языке наименование того понятия, которое заключено в данном слове. Так в слове «стол» заключено условное в русском языке понятие о предмете «настила», или возвышения для еды или работы. Это название дано по одному наиболее существенному признаку, заключенному в этом понятии, т.-е. по признаку «стл-ать» или «на-стл-ать» или «на-ст-ил». Это — признак самый объективный, внешний, всем членам русской языковой общины близкий и понятный; одним словом, **это признак — социальный**. Засим-же это понятие имеет для каждого члена нашей языковой общины целый ряд других уже **индивидуальных признаков** по отношению их к этому «предмету — столу»: так столяр мыслит его прежде всего, как предмет своей работы, учений — как свой письменный стол, за которым он пишет свои исследования, содержатель столовой — как приспособление для обедов, а также как качество приготовляемой им пищи («вкусный, сытный стол», — это уже переносное значение слова) и т. д. Сверх того каждый индивидуум, по своему обиходу, снабжает это «понятие — предмет», при первом его наименовании, тем или иным видом, цветом, материалом, из которого он сделан и т. д. Одним словом, каждое слово, как объект социального понимания и общения есть абстракция, а как объект понимания каждого отдельного субъекта, это есть как-бы нечто конкретное, или близкое к конкретности понятие... Вот эти-то конкретные « дальнейшие» индивидуальные признаки предмета, или понятия, и заключены в «дальнейшем содержании» слова, или в его «внутренней форме»¹⁾.

Таким образом мы условимся называть «ближайшее содержание» слова или его «внешнюю форму» — «**символом**»,

¹⁾ Конечно, и тут нет строгой и полной индивидуализации, ибо столяр понимает «стол» как предмет своей работы, исходя из понимания его своей профессией вообще, т.-е. своей социальной группой; ученый также не мыслит абсолютно индивидуально, а по взглядам своей специальной среды, других ученых и т. д.

а его « дальнейшее содержание » или « внутреннюю форму » — « семемой » ¹). Последнее название мы предлагаем вслед за проф. Будиловичем именно для того, чтобы не повторять впоследствии полного определения того понятия, которое мы имеем тут в виду.

Делая еще шаг в глубину « внутренней » речи, мы встретимся с сочетанием « семем » или с « психемой » ²), отвечающей предложению во « внешней » речи. « Психема », очевидно, еще более индивидуальна, чем « семемы », из которых она состоит, — как это само собой понятно. Одним словом, чем глубже « во внутрь » речи, тем она становится индивидуальнее, т.-е. все ее построения — произвольнее: каждый человек имеет свой стиль, свой способ выражения и т. д. « Символы » — социальны и для всех обязательны (конечно, точно также как « фонемы » и как « морфемы »); это все — ярко социальные элементы языка; « семемы » и « психемы » — индивидуальны. Вернее сказать, в первых трех элементах — преобладает социальность или социальная объективность над индивидуальностью (или над индивидуальной субъективностью); в последних двух уже наоборот, индивидуальность преобладает над социальностью... Таково общее, так сказать, правило. Но у различных лиц это комбинирование различно: у кого социальный элемент преобладает над индивидуальным, ибо он сам вообще, по своей натуре, более « социален », у кого — наоборот, индивидуальный элемент преобладает над социальным, так как он и вообще, по своей природе, очень своеобразный и плохо поддающийся постороннему влиянию человек. Сверх того, — как мы увидим далее, — огромную роль в соотношениях этих элементов социальности и индивидуальности играет типология самого языка, — ибо одна типология — более классовая (и индивидуальная), другая — менее классовая и т. п.

¹⁾ От греч. слова *semeion* — знак, признак. Отсюда же слова « семасиология » или « семантика » учение о значениях слов в языках.

²⁾ Значение этого термина отвечает значению выражения « психологическое суждение ».

При всем этом—**несомненен вывод: индивидуальна именно наша физиология, именно наша анатомия или животная, зоологическая сторона нашего организма; наша же «психология», хотя она и функция нашей физиологии, и спаяна с ней всем своим существом** (обе они вместе составляют одно целое, как это уже несколько раз подчеркнуто впереди),—**«наша психология» социальна целиком, она всецело рождается из социальности, из общественности.** Вне общественности человека, как такового, нет и не может быть. Вне общественности человек — животное, зоологический тип, и только. Человека в нас образует исключительно наша общественность и человек есть поэтому — прямая функция своей общественности, всецело и всем, что он имеет, обязана своей общественности. И прежде всего потому, что его «психология» растет из общественности и только из нее, как растение растет из земли. А если все же каждый человек имеет свою собственную индивидуальность, так или иначе своеобразен как внешностью, так и внутренним содержанием, то это уже благодаря его физиологии или анатомии, которые у каждого человека своеобразны (хотя и передаются в основе по наследству). Они-то и видоизменяют общую всем членам каждой общине социальность, в чем-бы она ни выражалась, и индивидуализируют ее.

Таким образом мы видим перед собой две внутренние борющиеся в человеке **«сущности»: физиологическую сущность, или индивидуальность каждого отдельного человека, и психологическую сущность, или социальность, всем им одинаково общую.** Результатом этой борьбы (борьбы всецело диалектической) и является в конце концов его **«синтетическая сущность»**, всегда своеобразная и отличная от других. И именно то, что тут мы имеем перед собой вечную диалектическую борьбу двух противоположных начал, это именно и обеспечивает отсутствие застоя, вечное движение человека вперед и вверх. В животных эта борьба отсутствует, ибо психика их вообще не развита (хотя она и существует, конечно). И они в общем таковы

сейчас, какими были тысячи и десятки тысяч лет назад. Исключаются те животные, которые находятся в постоянном сообществе с человеком и которые постепенно заимствуют от него некоторую долю его психики (особенно, собаки и лошади¹).

* * *

Не распространяясь далее по этому интереснейшему вопросу, отметим, что человеческая «психика» развивается и растет из общественности, конечно, не непосредственно, как растение из земли, а главным образом при посредстве языка. Как уже отмечено и выше, ребенок получает главную массу своих знаний из общественности, от своих близких, через их «слово», т.е. путем устного (а потом и письменного, из книг) обучения. И строение языка, его типология, имеет при этом огромнейшее значение во всех смыслах...

Без всякой боязни ошибиться, мы можем сказать, что человек развился до той грани, на которой он находится сейчас, только потому, что он изобрел звуковой, чрезвычайно гибкий, подвижной и способный к бесконечному развитию язык,—язык всецело условный, отвлеченный, не связанный непосредственно, природно, с внешним миром. Как говорит Н. Я. Марр, «язык и его элементы ничем не увязаны с предметами, которые они выражают»²). Это конечно, не значит, что связь между ними случайна или «абсолютно произвольна», как уверяет социологическая школа языкоznания. Нет, — как отмечено и впереди, — связь эта нигде и никогда, на пространстве все своей истории, не была случайной: она всегда была обусловлена диалектической борьбой человека с внешней природой и преломлением этой последней в его сознании. Но все же эта связь всегда была условна и прямо непосредственно вытекала не из внешней природы, а из

¹⁾ Они способны в известной мере понимать человеческую речь.

²⁾ «Яфетическая теория» 1928 г., стр. 98.

внутреннего мира самого своего автора, человека. И при каждом новом завоевании в этом направлении человек отмечал в своем сознании новую победу и получал таким образом новую силу для дальнейшей борьбы с природой..,

Первым завоеванием его были **звуковые комплексы**. Последующим — **осмысление** их, условная их связь с окружающим миром, насколько первобытный антропоид был в состоянии связать их (через свою природу, как преломляющую призму, или через свой труд, как это блестяще развивает Яфетическая теория). Еще дальше идет **дифференциация звуковых комплексов**, расчленение их на отдельные артикулированные звуки и различные комбинации из этих звуков.. Потом — **скрещения с другими звуками**, при скрещении с другими влеменами, и **условное осмысление всего этого все растущего звукового материала..**

Совершенно подобно этому бесконечному филогенезису (развитию вида) идет и онтогенезис (т.-е. развитие отдельной человеческой особи). Ребенок сначала вырабатывает звуковые комплексы, постепенно осмысливает их внутри самого себя, потом расчленяет их на отдельные артикулированные звуки, попутно осмысливая при этом все растущий звуковой материал — осмысливая его все более и более дифференцированно, т.-е. раздельно, расчлененно, и освобождаясь от прежней диффузности или слитности. И это развитие идет с постепенно все большим подчинением его детской индивидуальности все растущей в нем «психике», или социальности, но с постоянным преломлением второй в первой. И все это преимущественно через язык, путем обучения от окружающих представителей той-же социальности. Если же при этом ребенок в первые годы своей жизни пытается еще творить язык самостоятельно, — особенно в его грамматических формах, — то постепенно он все более и более подчиняется авторитету окружающих и сливаются всесело с окружающей его языковой социальностью..

Рост же «психики» ребенка или его социальности имеет своей базой и своим исходом соответственный рост его мозговых центров. Как уже отмечено впереди, ребенок рождается с уже готовым мозговым аппаратом, т.-е. все мозговые нервные клетки имеются у него на лице и в этом отношении его мозг не меняется. Но все эти клетки, так сказать, «пусты», или не имеют никакого психического «наполнения»: это «наполнение» и есть первейшая задача вновь появившегося на свет человекообразного существа. И когда это существо «наполнится» социальной психикой, тогда оно становится человеком, членом данной социальной общины. «Наполнение» же это идет главным образом через соответственное социальное орудие, т.-е. через язык!...

* * *

Возвращаясь теперь опять к нашему спору с рефлексологией, отметим, что при **несомненно огромной разнице между всеми категориями языка, которые разобраны выше, т.-е. между фонемами, морфемами, символами, семемами и психемами**, — при огромной разнице между ними не только количественной, но и качественной, по соотношению диалектически борющихся в них принципов социального и индивидуального, а равно — элементов «материальной» или звуковой сущности, и «психической» или смысловой сущности, — при такой огромной разнице, очевидно, совершенно невозможно допустить, чтобы эти категории где-либо сливались между собой. Иными словами, нельзя ни под каким видом допустить, чтобы они вырабатывались путем простой иррадиации, из первоначального условного рефлекса, только механически захватывая иные центры чувствующие и двигательные. Нет, тут не простая иррадиация, а **постепенное перерождение, постепенная трансформация биopsихически «низшего явления» в «высшее»: фонемы — в морфему, морфемы — в символ и т. д.** Это сложнейший и вместе интереснейший процесс, — именно тот процесс, который составляет **человеческое мышление**, но который все же в конце концов можно

приравнять или уподобить процессу перерождения механической энергии мотора в электрическую энергию динамо-машины, а этой последней — в световую, тепловую энергию и т. п. в соответственных аппаратах. И точно также в иных аппаратах,—или в иных мозговых центрах, с иным соединением иных по своей консистенции первых клеток,— происходит перерождение, или трансформация «низших» категорий языка в «высшие». Более детально это перерождение можно представить себе следующим образом.

По предлагаемой здесь рабочей гипотезе, в слуховом центре происходит сосредоточение истинных звуков нашего языка, или фонем. Поэтому мы предлагаем называть его «центром фонем». Это его специальная работа. Иной работы он не выполняет и выполнять не может, ибо каждый мозговой центр может выполнять только одну строго определенную функцию и никогда не может смешивать ее с другими качественно различными функциями. Это, очевидно, такое положение, с которым не будет спорить ни один физиолог (даже рефлексолог). А если это так, то, несомненно, для каждой качественно отличной речевой функции, или для тех «высших» и «низших» явлений нашей речи, которые установлены выше, в мозгу человека должна существовать особая группа нейронов (нервных клеток) или особый центр, специально выполняющий именно эту работу. В силу этого должны существовать особые центры морфем, символов, семем и психем.

Не вдаваясь в частичное развитие этой гипотезы, скажем, что принципиально допустить отдельное существование только таких «центров», где происходит вся «морфемная», вся «символовая» и пр. работа, — это значит чрезвычайно упростить действительную фактическую работу мозга, которая на деле неизмеримо сложнее и детализированнее. И только именно эта чрезвычайная сложность и детализированность нашей мозговой работы и может объяснить огромность тех областей нашего мозга, которые не принадлежат к периферической деятельности, или к деятельности центров, связанных проекционными волокнами с нашими орга-

шами чувств или с членами нашего тела, как двигательные центры.

Поэтому мы остановимся именно на этой упрощенной схеме и предположим существование вслед за уже известным нам «центром фонем» еще особых центров «морфем», «символов», «семем», и «психем». Работа же их представляется нам следующим образом.

В центре фонем, во время речи постороннего человека или нашей собственной, «собираются» одна за другой формирующиеся вслед за произнесенными внешними «звуками» их фонемы. Когда сформировавшаяся комбинация отдельных фонем получает «морфемную значимость», то **в центре морфем** возникает соответственная морфема (напр. корень «стол» или префикс «на» или суффикс «ов» и т. д.). Эта новая морфема «опознается» центром морфем, конечно, только тогда, когда в нем уже существует образовавшаяся ранее «средняя пропорциональная» той-же морфемы, постепенно там «отлагавшаяся» по мере накопления соответственных следов от предшествующей речи, или от всех предшествующих речевых впечатлений. Опознанная-же, она там запечатлевается на сказанном ранее сформировавшемся «типе», или этот «тип» так сказать «выскакивает», как буква в пишущей машине, будучи наготове к практическому действию в процессе накапливающейся речи. И когда таким-же образом сформируются из новых фонем новые морфемы, они в общей сложности дают импульс для новой «значимости», т. е. **в центре «символов»** возникает «символ» или «слово» воспроизводящейся речи. В этом центре, понятно, также каждое новое слово может быть «опознано» только тогда, когда там уже существует «тип» его, сложившийся из прежних впечатлений. Засим это «слово-символ» возбуждает центр **«семем»**, где появляется на сцену соответственный «тип» семемный, или тоже слово, но индивидуализированное, со всем его «далеешим содержанием». Сочетание-же семем, дающее **«психемную» значимость**, естественно, вызывает к жизни соответственную **«психему»**,

отвечающую отдельному предложению внешней речи и уже существующую в «психемном центре»...

Нужно думать, что общая нить развертываемой картины понятна читателям. Нужно только добавить, что «низший» центр импульсирует центр «высший» или: а) как полагает академик Лазарев, по закону «детонации», т.-е. самовзрыва на подобие какого-либо взрывчатого вещества, когда по близости взрывается другое скопление того же взрывчатого вещества, или б) как мне кажется, — по закону индукции, как в цепи соленоидов уже электрически заряженный соленоид рождает (индуктирует) ток в другом соседнем, до того нейтральном, соленоиде... «Детонация-же» эта, или «индукция» возможна только тогда, когда предшествующий источник энергии даст соответственное ее накопление для соответственного-же «взрыва» в последующем «центре»...

Однако, при всем этом надо сказать, что трактуемый здесь (едва-ли не впервые) вопрос совершенно еще не разработан ни лингвистами, ни физиологами. И абсолютно необходимо, чтобы эти обе категории людей науки протянули друг другу руки и стали работать совместно. Только тогда можно будет построить научно, фактически обоснованную теорию нашей речи, базирующуюся уже не на предположениях и гипотезах, а на твердых данных материалистической науки. Пока-же и Яфетическая теория совершенно не касалась этого, очевидно, чрезвычайно важного для нее вопроса...



В настоящей работе мы пытаемся построить схематическую рабочую гипотезу внутренних мозговых процессов речи на данных агглютинативной типологии. Так как именно эта (и только лишь эта!) типология дает нам ясную систему фонем, морфем и т. д. в их строгой последовательности и взаимоотносительности. Следует надеяться, что читатели-специалисты не замедлят подвергнуть высказанные здесь предположения самой внимательной строго-научной

(т.-е. не сколастической, а материалистической) критике. Только применение и здесь теории диалектического материализма может дать столь необходимые для понимания рассматриваемых процессов данные и выводы!

Вместе с тем, само собой выясняется все огромное преимущество агглютинативной типологии перед типологиями синтетической и флексивной.

В самом деле в **первой из них**, как мы знаем, существуют только «звуки», или их фонемы. А затем, за отсутствием в синтетической речи форм-морфем, а равно и слов-символов (ибо ведь эта речь — аморфная, бесформенная, не имеющая даже категорий, именуемых у нас «частями речи», почему «части речи» опознаются только в целых предложениях, как их части), — за отсутствием в ней этих промежуточных категорий, мы видим тут только фонемы с одной стороны и психемы (цельные психологические суждения) с другой стороны. Поэтому чтобы индуцировать «психему», необходимо в центре фонем накопить соответственное количество фонем, очевидно очень большое. В их общей сумме они вызовут оживление в центре психем соответственной психемы, ранее там сложившейся. Само собой понятно, насколько этот процесс сложнее (при своей внешней будто-бы упрощенности) и труднее для его отчетливого воспроизведения. Ведь тут каждый раз требуется крупный скачок из периферического фонемного центра прямо в самый глубокий и заключительный центр психем. И сама практика китайской речи показывает, насколько эти скачки индивидуальны и, следовательно, крайне своеобразны. Это то и вызывает ту трудность взаимопонимания китайцев; о которой говорилось раньше, а равно отсутствие в китайском языке писанной грамматики, почему ее приходится индивидуально составлять для себя каждому ученному китайцу в своей голове путем долгого самостоятельного изучения соответственных книг...

Что касается флексивной типологии, то в ней выявляется другое не менее тяжелое затруднение. Центр

фонем, конечно, и тут имеется на лицо в его непременном и полном развитии. Но затем начинается явная «неразбериха», соответственно той «неразберихе», которая существует в самих флексивных языках вообще и в каждом из них в отдельности. Раз в этих языках нет законов и даже мало-мальски твердых правил словообразования, словоизменения и словосочетания, то это неизбежно отражается и на мозговых процессах. Какой хаос царит во «внешней» речи, такой-же хаос существует и в мозгу. В нем, очевидно, нет и не может быть отчетливо разработанных центров морфем, слов-символов, семем и психем. В нем совершаются постоянные скачки из фонемного центра то в центр символов и семем, то прямо в центр психем (так как есть масса выражений, понимаемых не по их формам-частям, а в целой совокупности, наподобие китайского языка, но есть и последовательные ступеньчатые переходы из низших центров в высшие, как в агглютинативной типологии).

Надо вообще иметь в виду, что ни один язык мира не имеет точно отлившейся (по одному из сказанных прототипов) типологии. И агглютинативные языки имеют свои исключения. Языки-же синтетические и флексивные — особенно последние! — на каждом шагу совершают переходы в другие типологии. Так, в русском языке все слова неизменяющихся частей речи (союзы, предлоги, междометия, частью — наречия), а равно слова изменяющихся частей речи, когда они на самом деле представляют собой один корень (напр., русские слова «стол», «добр», «он» и т. под.) — все эти слова есть собственно слова бесформенные, или по существу — явления синтетической типологии. Ибо по основной идее нашей речи каждое слово должно с одной стороны иметь свою знаменательную сущность (корень плюс словообразовательные частицы), а с другой — свою формальную сущность (окончания и пр.), выражющую взаимоотношения этих знаменательных слов в предложениях или во фразах. Если-же формальные частицы отсутствует совсем, то это уже явление синтезизма или аморфности (англий-

ский язык явно идет к этой бесформенности¹⁾. Не менее плохо в смысле понимаемости и то, что «форменные слова» (т.-е. имеющие окончания) меняются «органически» (т.-е., слившись в основной своей форме в нечто целое, они затем меняются именно как целое-же, или «органически» вместо перемен морфемных, как это есть в агглютинативных языках).

Уже этих кратких замечаний, достаточно для того, чтобы прийти к заключению о безусловном превосходстве агглютинативной, точно последовательной, ступеньчатой типологии перед двумя другими, с их скачками и с необходимостью поэтому постоянного дополнительного анализа автоматически уже образовавшихся форм или предложений. Кто из нас не замечал случаев, когда, выслушав что-либо сказанное другим человеком и точно усвоив «внешнюю», так сказать, звуковую форму сказанного, затем мы должны были задумываться над воспринятым, чтобы понять его подлинный смысл. Вот это-то и есть результат с одной стороны путаницы типологии языка, а с другой стороны на этой-же преимущественно базе возникающей крайней индивидуальности речи и крайнего своеобразия понимания не только отдельных слов, но и тех или иных оборотов или выражений. При путанной флексивной типологии речь для нас обычно ясна только тогда, когда мы говорим ходящими фразами и привычными выражениями. Даже ученые люди разных специальностей предпочитают вести беседу с представителями своей-же специальности и затрудняются в понимании ученых других специальностей. И не только по причине особых терминологий, но и по причине индивидуальности построения речи вообще, в самом широком смысле этого слова. Тут-то и оказывается воочию, насколько наша речь или наш язык есть по своему существу социальное явление, и насколько вредна для него его индивидуализация в отдельных мозгах, а равно насколько вредна для него общая путаница присущей ему в Европе флексивной типологии!..

¹⁾ В нем огромная масса слов—односложная и бесформенная.

* * *

Для лучшего пояснения всего изложенного дадим пример, как при принятии нашей рабочей гипотезы, складывается речь по всем трем типологиям.

Возьмем фразу: «**Раскол в партии мешает ее созидательной работе**». Попробуем ее выразить по условиям всех трех типологий.

Так как в **синтетической типологии** слова аморфны и в основе—как-бы предметы, то эта фраза сложится по ней примерно так: «Раскол партия помеха она создание работа». (Собственно,— как мы видели ранее по примеру, взятому прямо из китайского языка,—строение фразы будет гораздо прихотливее. Но это не важно). В центре фонем получится: «расколпартияпомехаонасозданиеработа» (т.-е. тут получается ряд фонем отдельных членораздельных «звуков», — при быстрой речи—непрерывный). Затем, ввиду отсутствия морфем и пр. и распознавания значения слов (как частей речи, а равно и по смыслу) только во фразе, — в центре психем (центры морфем, символов и семем тут отсутствуют) получается вышеуказанная фраза: «раскол партия помеха она создание работа», и лишь путем особой аналитической работы устанавливается ее подлинный смысл, (т.-е. «раскол в партии мешает ее созидательной работе»).

Очевидно, тут должны быть особые центры, которые специально производят постоянную аналитическую работу психем, уже полученных извне, и восполняющих недостающие в них элементы а равно устанавливающих истинные соотношения слов, как частей речи, частей предложения, их смысл и пр. Само собой очевидно, насколько такая работа индивидуальна, т.-е. насколько тут «понимание близко к непониманию». **Социальность языка, как орудия общения, в огромной мере уничтожена.**

Возьмем теперь **флективную «органическую» типологию**, в которой собственно существуют только цельные слова в тех формах, которые даны во фразе (т.-е. в данных падежах, лицах и пр., ввиду возможного изменения

звукового состава корней и потери самостоятельного смысла словообразовательными и словоизменительными формальными частицами). В центре фонем тут получится та же вереница фонем, в виде непрерывного ряда. В центре символов (центр морфем отсутствует) мы получим ряд слов «ближайшего содержания»: «раскол — в партии — мешает — ее — созиадательной — работе». В центре семем эти слова получают не только их « дальнейшее содержание», или «внутреннюю форму», но еще, для необходимого понимания, они приводятся к основной форме, особенно при « недостаточном » знании языка; «достаточное-же» знание (в виду «ограниченности» форм слов и необходимости отдельного их изучения)дается только продолжительной практикой именно в данном литературном языке, на котором говорит только интеллигентия и который собственно в значительной мере есть « чужой язык » для широких масс, говорящих на своих диалектах. Это, понятно, в огромной мере усложняет работу центра семем, где складывается понимание слов, на фоне, конечно, ранее там сложившихся их « следов ». Усложнение-же работы ведет, несомненно, к ее индивидуализации, т.-е. к худшему взаимному пониманию. Остальная работа передается в центр психем, где устанавливается целокупная фраза в ее подлинном виде и где происходит окончательное « расшифровывание » смысла всей фразы. Эта работа, естественно, еще более индивидуализированная, и, следовательно, более далекая от объективного социального, всегда одинакового понимания ¹⁾.

Так как тут взята очень простая фраза и притом на нашем-же русском языке, то нам и кажется, что она легко понятна и, следовательно, социальна. Но для иностранца представится очень странным и непонятным, почему например, слово «раскол» не имеет никакого окончания, тогда как в других падежах это слово имеет разные окончания, а равно другие слова того-же типа (т.-е. имена существи-

¹⁾ Впереди уже не раз подчеркивалось, что эта индивидуализация есть прямое выражение **классовости языка**.

тельные) имеют всегда окончания и в именительном падеже, (т.-е. в роли подлежащего). Затем ему придется повозиться со словом «партии», так как эта форма, — как уже отмечено и выше,— одинакова в пяти падежах, что непременно вызывает недоумения¹). Такое же недоумение вызовет в нем и форма «созидающей», одинаковая для всех падежей единственного числа (кроме именительного и винительного), при наличии перемен окончаний в тех же падежах имен существительных, (т.-е. в словах определяемых) и при общем правиле согласования с ними определительных слов. Ясно что и эта «простая» фраза далеко не «проста» на самом деле и заключает в себе не мало «индивидуальных загадок».

Перейдем теперь к агглютинативной типологии. В центре фонем мы получим тот же ряд «звуков», что и раньше. В центре морфем каждое слово будет разбито на свои составные части — отдельные морфемы, которые покажут категорию его, т.-е. его падеж, лицо, число, время и пр. (по тем данным, которые указаны в главе VII). Т.-е. и неграмотный человек своим грамматическим чутьем безошибочно поймет уже здесь — т.-е. уже в первичной синтезирующей стадии речи, — с чем именно он имеет дело. По форме «раскол» (без окончания) он поймет, что это подлежащее (субъект речи). По форме «партии» он поймет, что тут — указание места (ибо по строю речи все падежи имеют при агглютинации разные окончания и наше смещение их совершенно невозможно). По форме «мешает» он поймет, что тут речь идет о настоящем времени я т. д. Одним словом уже в центре морфем все элементы слов, по их точной значимости, будут поняты и усвоены, чем работа в центре символов будет сведена к минимуму. Работа центра семем

¹) Во фразе же, вроде «долги Австрии Германии давно уже уплачены» это недоумение уже прямо неустранимо, если дополнительный контекст не указывает, кто именно кому был должен и платил свои долги (т. е. Австрия Германии или наоборот). — Такое же недоумение будет, напр., во фразе: «перо дало крыло» — что что дало? Таких фраз в русском языке не мало. Мы только не обращаем на них внимания...

будет заключаться только в обязательной индивидуализации слов (т.-е. снабжении их «дальнейшим содержанием» или «внутренней формой»): никакой расшифровки тут не нужно, почему, очевидно, и самая индивидуализация будет не столь удаляющая слово-семему от слова-символа. Наконец, роль центра психем также будет много проще, а индивидуализация — гораздо меньше, чем в первых двух случаях...

Конечно, данный нами пример очень груб и мало показателен. Но кто из читателей хорошенько вдумается в суть дела, тот с полной ясностью усвоит, насколько важно дать языку точные грамматические формы, чтобы по ним можно было бы сразу понять, с какими именно категориями речи мы имеем дело. Раз нет путаницы форм, раз все они имеют свою твердую значимость, никогда с ними не растающуюся, почему в языке остается только самое необходимое число форм, по числу существующих в нем категорий, и т. д., — тогда язык становится именно «грамматически прозрачным», легко изучаемым и, следовательно, доступным для широких масс. А это и обуславливает его подлинную социальность!...

* * *

Для полноты изложения вопроса о типологиях и мозговых центрах нам следовало бы еще отметить те центры, которые вырабатываются у человека в связи с языком, а именно: 1) **центр речи**, который имеет значение уже не чувствующего, а двигательного, служащего для иннервации органов речи при говорении; 2) **центр чтения**, как центр чувствующий — зрительный, служащий нам при чтении, и 3) **центр графики**, играющий роль моторного центра для иннервирования руки при письме. Все эти центры — периферические. Все они уже открыты анатомами и физиологами и существование их не подвергается сомнению даже и со стороны рефлексологов, так как тут прямые исследования и эксперименты воочию убеждают в фактах их существования. В противном случае школа Павлова, пожалуй, также отвергла бы их существование, за несомненным отсут-

ствием их у собак (ибо собаки не говорят и тем более не читают и не пишут!).

Однако, в задачу настоящей работы не входит детальное изложение всех данных о языковых мозговых центрах. Поэтому ограничимся уже выше изложенным и сделаем из него необходимые выводы.

Сопоставление типологий языка с несомненной языковой работой мозга (даже если признать самое существование отдельных мозговых ассоциационных центров подверженным сомнению) убеждает воочию, что при **синтетической и флексивной типологиях мозговая работа — бессистемна, крайне индивидуализирована и подвержена разным случайностям**. Иными словами, она в точности отражает те факты языка, которые мы видим в их «внешнем» строении: в синтетических языках грамматика совсем отсутствует; во флексивных она чрезвычайно путанна или хаотична, не имеет никаких законов и даже правил (более или менее определенного характера) и в сущности вся построена на исключениях (если можно говорить об исключениях при отсутствии правил и законов). Иными словами тут весь вопрос в «фактах» языка, которые надо изучать наизусть и притом настолько твердо, чтобы они, при всей их путанности, не рождали затруднений при их применении. Это может быть достигнуто только путем огромной и усиленной чисто практической выучки, путем постоянного употребления самой речи; школьное же теоретическое обучение (в виду отсутствия системы) собственно совершенно исключается.

Ясно, что эти типологии глубоко классовые, т.-е. могущие быть применяемы и вполне используемы только «высшими» классами, имеющими достаточное количество и времени, и средств для практического изучения бесчисленных, ничем внутренно не связанных языковых фактов. Для широких масс, не могущих затрачивать на изучение таких языков много времени и средств, эти языки недоступны.

Можно сказать даже, что в этих типологиях не человек владеет фактами языка, своего-же собственного

изобретения, — а эти факты владеют им, своим создателем. Тут создатель находится в пленах у своего же собственного изобретения и смотрит на него, как на «слепую необходимость», как на «естественно-исторический факт», который существует сам по себе и не может подлежать никаким сознательным переменам. Ибо чтобы «что-либо» изменить и из «вещи для себя» сделать «вещь для нас» — для этого надо ясно и верно понимать это явление, или эту «вещь». Здесь-же «вещь» совершенно бессистемна и не понятна: она — «слепая необходимость» и всецело владеет применявшим ее человеком. Отсюда с одной стороны тот глубоко неутешительный, всецело пассивный взгляд на язык, который дает западно-европейская лингвистика в ее обоих направлениях, — как это изложено в первых главах этого труда. Отсюда-же, нужно полагать, и то нивелирование мозговых процессов собаки и человека, которое овладело школой Павлова и которое приводит ее к признанию одной чистой физиологии с отрицанием какого-бы то ни было качественного различия между мозговыми процессами собаки и человека.

В агглютинативной же типологии не факты языка владеют человеком, а он сам владеет ими. Тут на лицо правильная и легко понятная даже неграмотному и мало культурному человеку система. Прямое грамматическое чутье (то чутье, которое заставляет наших детей в 3-4 летнем возрасте давать «правильные» формы речи, по аналогии с уже изученными) подсказывает ему, с чем он имеет дело в каждом данном случае. Тут все на своем месте, все понятно и тесно систематически связано внутри всей системы. Тут нет никакой «слепой необходимости». Тут нет «вещи в себе»; тут язык — «вещь для нас»! Если бы академик Павлов был лингвистом (конечно, настоящей материалистической школы), то он, можно думать, сам пришел бы к заключению о безжизненности, о мертвости своего учения. Ведь в его учении все «механистично». В нем нет диалектики, нет «революционных» скачков. В нем только «непрерывная, не допускающая никаких качественных изме-

нений эволюция». И поэтому в нем человек остается вопреки всем фактам жизни, на той-же животной, зоологической стадии развития, что и другие позвоночные животные. Идя назад, — с точки зрения Павлова надо признать, что и беспозвоночные животные и даже «неживая природа» обладают теми-же «физиологическими» свойствами, что и человек. Иными словами, что они обладают в принципе задатками того-же творчества, которым обладает человек.

Между тем собака не владеет ведь способностью изобретать и использовать искусственные орудия, которыми она «продолжала-бы» свою организацию вовне. Не владеет она, естественно, и отражением этой способности в мозгу, т. е. способностью общения с себе подобными при помощи условных звуковых знаков, которым придана условно-же известная значимость. А именно ведь эта способность и отличает человека от собаки. Она составляет сущность его человеческой природы. Она дала человеку возможность строить его отвлечения, его понятия, всю его идеологию... Где-же в мозгу собаки те процессы, которые могли-бы позволить ей создать, скажем, не пятилетний план хозяйственной государственной деятельности, а хотя-бы план действий на ее сегодняшний день?

Вот что объясняет нам агглютинативная, вся проникнутая «грамматической прозрачностью» и систематичностью типология человеческого языка. Она объясняет нам, в чем заключается психика человека, его способность «интроспекции». При ее наличии **человек «видит», что делается в его мозгу**, как создается его речь, т.-е. именно то, что и делает его человеком и что кладет грань между ним и животными, что именно составляет его истинную «материалистическую душу»...

Но раз это так, то эта-же типология указывает человеку, владельцу¹⁾ речью иного (т.-е. «слепого») строения, куда и как надо идти, чтобы стать ее хозяином, чтобы изъять из нее «слепую необходимость» и сделать из «вещи для

¹⁾ Вернее сказать: «владеемому». (?).

себя» «вещью для нас»... Иными словами, как не только «объяснить философски» язык, но и «изменить» его для нашей огромной пользы!..

Вот к каким выводам приводит нас сравнение типологий человеческого языка на базе мозговых процессов! И, конечно, эти выводы не могут остаться для человечества бесплодными!

IX.

Эсперанто в объективно-научном освещении — Его типология

После всего сказанного впереди уже не трудно перейти к решению вопроса о том, что такое эсперанто со строго научной, объективной точки зрения.

Мы, эсперантисты, отлично знаем его типологию. Даже не искушенные в лингвистических «тонкостях» наши товарищи прекрасно знают «грамматическую прозрачность» эсперанто. Это язык — агглютинативной типологии со всеми огромными, уже нам отлично понятными преимуществами этой последней.

Вся его грамматика состоит из 16 коротеньких правил, которые собственно есть не правила, а **законы** языка, ибо из них нет и не может быть ни одного исключения. Отсюда — легкость его изучения. Отсюда — его доступность широким массам, т.-е. иными словами его **широкая социальность**, с возможным исключением всякой индивидуальности. А так как индивидуальность языка, есть, как мы знаем, его классовость, то, очевидно, **из эсперанто эта классовость возможно исключена**, — настолько исключена, насколько это возможно для нашей исконно классовой общественности, с ее исконно классовым мышлением...

Но тут, конечно, не обойтись без выступлений «принципиальных» «противников эсперанто», которых достаточно и у нас в СССР, и которые скажут, что напрасно мы ставим эсперанто на одну доску с остальными «живыми» языками, «выросшими с их народами» и т. д.

— Эсперанто — скажут они менторским тоном: это не живой язык! Это искусственное лабораторное создание одного человека. Уже это одно кладет между ними огромную разницу и заставляет отнестись к нему как к суррогату, отнюдь не могущему стать на одну линию с подлинно живыми языками!..

Подобные возражения против эсперанто мы слышим все сорок лет существования нашего языка. А между тем он продолжает жить, т.-е. не только «прозябать», но именно жить нормальной жизнью каждого «живого» языка. Правда, его распространение не идет вперед гигантскими шагами. Наоборот, это распространение идет достаточно медленно, что, несомненно, для него самого гораздо лучше в смысле будущего прогноза. Лучше постепенно, понемногу, но твердо и прочно завоевывать свои позиции, чем создавать «блэф», что-то вроде мыльного пузыря, который готов лопнуть при первом дуновении даже слабого ветра. Вроде того, как лопнул известный Волапюк после десяти лет своего бурного роста. **Эсперанто выдержал империалистическую войну.** Мало того: эсперантское движение, будучи после войны разделено на два идеально разошедшихся между собою лагеря — не заглохло ни в буржуазном, ни особенно — в нашем советском лагере. И там, и тут оно все тверже и тверже становится на ноги и привлекает к себе внимание таких кругов, которые раньше совсем не интересовались (или очень мало интересовались) международным языком. И если в капиталистическом мире (помимо пацифизма и частью науки) его используют все шире в целях «стяжания», то в нашем советском мире, т.-е. в международном рабочем движении, эсперанто становится все более и более действительным средством для укрепления связей обще-пролетарского движения и распространения идей марксизма и коммунизма...

Думается, что это такие доказательства действительной жизненности эсперанто, что их одних достаточно для опровержения «обвинений» в «мертворожденности», «искусственности» и т. д. **Эсперанто — факт живой современ-**

ности, уже пустивший достаточно глубокие корни в мировой жизни! Правда, не так много еще на земном шаре людей, хорошо его изучивших; но таких, которые в большей или меньшей мере прикоснулись к нему,— таких безусловно не меньше, чем жителей, например, в каком-либо из небольших государств Центральной Америки!...

Мнение об «искусственности», «мертворожденности» эсперанто держится у многих даже широко развитых и достаточно беспристрастных людей и у нас, в СССР, между прочим потому, что **такого взгляда держатся все гг. лингвисты западно-европейских направлений**, которые упорно отказывают эсперанто не только в признании его полноправным языком, но даже в мало мальски серьезном к нему отношении. Между тем стоит прочитать их критику, дабы убедиться, что у них нет не только полного знания предмета, о котором они говорят так категорически, но и вообще нет правильного подхода к вопросу о международном языке, который так необходим всем более объединяющимся человечеству и который непременно должен возникнуть вначале именно тем «искусственным» путем, каким создан эсперанто.

Триста лет крупнейшие умы Европы, начиная с Лейбница, Декарта, Амоса Коменского (XVII век), переходя к Мопертюи, Кондорсе, Кондильяку, Монтескье, Вольтеру, Бюрануфу, Вольнею, Монбоддо, Амперу (XVIII век), к Огюсту Конту, Герберту Спенсеру, Владимиру Одоевскому, Эрнесту Навилю, Ницше, а в области языкоznания— к братьям Гrimmам, Максу Мюллеру, Шухардту, Йесперсену, Бодуэну-де Куртенэ (XIX век) и к многим, многим другим,— триста лет крупнейшие умы Европы останавливались на вопросе об **«искусственном международном языке»**, который устранил бы недостатки языков «естественных» и дал бы представителям различных народностей возможность входить между собой в общение, независимо от их национальностей. За эти триста лет было создано частью этими же выдающимися умами, частью другими лицами, специально занимавшимися этими вопросами, до 370 проектов,

завершением которых были уже упомянутый выше и окончившийся мало практическим Волапюк, а ныне—все более и более завоевающий общественное внимание по всему миру эсперанто¹⁾... Этот последний сорок лет уже пускает все более и более глубокие корни в людском сознании по всем широтам и долготам, среди всех национальностей, профессий, возрастов и т. д.

И все же при всем этом гг. лингвисты—профессионалы не желают не только признать его полноправным языком, но и третируют как *quantité negligable*, как вещь, не стоящую никакого внимания... Такой крупный лингвист, как Бодуэн-де-Куртенэ, объясняет это тем, „что гг. языковеды частью считают попытки создания международных языков вторжением непосвященных в арендаемый ими храм языковедения²⁾), частью же смотрят на всякую попытку создать языковый синтез, как на абсурд. Многим ученым и не-ученым мешает при этом врожденный им консерватизм и боязнь новизны: они ничего подобного не слыхали от предков и потому боятся нежелательных последствий»³⁾...

Между тем если в какой-либо иной области знания, работающей точными, истинно научными методами, выявляется хотя бы незначительный факт, который не укладывается в принятые ею классификации и теории, то не этот факт устраняется, а все ее классификации, все ее теории признаются неверными и перестраиваются до тех пор, пока не окажутся захватившими в свои орбиты и этот вновь открытый факт. Тут-же, в лингвистике, перед глазами гг. ученых разворачивается крупное глубоко жизненное явление, доказывающее свою жизненность самыми убедительными фактами в течение 40 лет, вопреки массе неблагоприятных и также-

¹⁾ См. книгу Э. Дрезена. «За всеобщим языком. Три века иска-
ний»,—изд. Главнауки РСФСР, 1928 г.

²⁾ Авторы проектов интернациональных и пр. языков были
обычно не языковеды, а лица иных профессий: врачи, математики,
военные, духовные лица и пр.

³⁾ Статья И. А. Бодуэна-де-Куртенэ в журнале «Эсперо» СПб,
1908 г., стр. 359.

лайших условий... И все же они ограничиваются тем, что или совсем отворачиваются в сторону, как-бы не замечая эсперанто и вообще все движение за «искусственный язык», или отделываются критикой, обнаруживающей их собственное непонимание предмета¹)... Впрочем, что же можно требовать от представителей схоластической науки, не умеющей понять за 120 лет своего существования самый объект своего изучения, как, полагаю, это выявлено с достаточной полнотой в первых главах настоящей работы, — той науки, которую Н. Я. Марр вполне справедливо называет «почившей наукой» и которая сама, устами виднейшего своего представителя, признает свое собственное «туниковое» положение²!.

М. Горький еще в 1921 г. писал: «Консервативная мысль упрямо доказывает, что эсперанто — утопическая затея. Живая, закономерно развивающаяся действительность не торопясь, но все более решительно опровергает мнение консерваторов». Через — семь-же лет³) он высказался еще более определенно:

«Против эсперанто возражают: это — искусственный язык, а языки искусственно не создаются... Но мне кажется, что мы, люди, вправе сказать: все то, что нами называется «культурой», вся та «вторая природа», которая создается нашей наукой, техникой, искусством, словом все, что отводит нас от животных, — все это «искусственно». Чайная ложка вещь искусственная, также как нож, сапоги, телега, лодка, пароход, автомобиль, книга, музыка, картина. Для человека, насколько он животное, естественно лакать или пить горстью, ходить голым, рычать, но вовсе неестественно выдумывать Прометея, Фауста, Дон-Кихота... Если в людях возникает сознание необходимости говорить всем на одном языке, — это тоже будет сделано.

¹) Таковы, напр., отзывы у нас профессоров Погодина, Кульбакина и др.

²) В письме на имя Белорусской организации СЭСР, избравшей М. Горького своим почетным членом (см. журн. «Международный язык», № 3—4, 1928 г.).

Все на земле создается напряжением нашей воли, нашего воображения, нашего разума... Человеку пора внушить себе: **я все могу.** Не нужно бояться никаких дерзновений и безумств в области труда и творчества. Самое великое и чудесное из всего сделанного людьми — наука, искусство, техника. И та, и другое, и третья — совершенно безумны».

Взгляды Н. Я. Марра — этого авторитетнейшего судьи в вопросах языка — на «искусственное» происхождение всех языков земного шара мы уже знаем из предшествующего изложения. По вопросу же специально «искусственных» международных языков он писал: «Вопрос об искусственном международном языке во многих кругах, — к сожалению, именно научных, — вызывает улыбку, в лучшем случае — незаслуженное равнодушное отношение. Сомнение вызывает самое определение «искусственный». В значительной мере это происходит от того, что так называемый природный, или естественный, язык до сих пор представляется даром природы, а не «искусственным созданием» общественности в той-же мере, как памятники материальной культуры и вещественные художественные произведения. Старый взгляд на язык, как на дар природы, пережиточно продолжает себя давать знать в формальной постановке изучения языка, поскольку внимание уделяется до сих пор прежде всего фонетике, притом главным образом физиологическим условиям произношения, менее всего — семантике, связанной с общественностью. Для нас, поборников нового учения о языке, созидание речи коллективом и развитие отдельных, дифференцировавшихся в условиях первобытной и протоисторической общественности языков в линии по направлению к будущему единому языку не подлежит сомнению, как и то, что человечество, идя, к единству хозяйства и неклассовой общественности, не может не принять искусственных мер, научно проработанных, к ускорению этого мирового процесса» ¹⁾...

¹⁾ Предисловие к вышеназванной книге Э. Дрезена «За всеобщим языком», стр. 9.

* * *

«Искусственность» эсперанто оказывается прежде всего в уже отмеченной его агглютинативной типологии. Эта типология, — как мы видели раньше, — принципиально чужда флексивным языкам Европы, в которых изменчивость корней, формальность окончаний (т.-е. потеря ими особой значимости и «органическое» их слияние с корнями и по форме, и по смыслу) есть общее явление. А т. к. «индоевропеистика» считает эту «органичность» признаком совершенства «высококультурных» индоевропейских языков и исконной их принадлежностью, начиная с самого «благородного арийского «праязыка», то агглютинативность эсперанто, родившая его с языками «номадов», также представляется гг. индоевропеистам явлением низшего порядка, огромным минусом в строении этого «искусственного» языка.

Мы-же должны смотреть на вещи иначе. **Мы должны признавать языки орудиями труда, подлежащими такому-же совершенствованию, как и все остальные наши искусственные орудия.** В каждом «естественном» явлении мы отыскиваем заключенную в нем «слепую необходимость», чтобы затем удалить ее и таким образом овладеть им, сделав его из «вещи для себя» «вещью для нас». **В эсперанто мы именно видим великолепный пример исключения из языковой структуры сказанной «слепой необходимости», с обращением «естественному» явления (т.-е. флексивных европейских языков) в «вещь для нас» или в удобное и доступное широким массам орудие международного общения.** В этом-то и заключается та «научная проработка» языка, о которой говорит Н. Я. Марр и которая служит показательной ступенькой в ускорении процесса движения к общему мировому языку. В этом-же направлении, очевидно, должны идти европейские языки в их движении к общему языку.

Как-же при таких условиях не признать эсперанто продуктом гениального ума, продолжающим то великое дело познания языковой сущности, которое начинает от

первых моментов зарождения звуковой речи Яфетическая теория? И по удивительному «совпадению», первое опубликование идей Яфетической теории и проекта эсперанто приурочивается почти к тому же самому году. Д-р Заменгоф опубликовал свою « первую книгу », служащую до сих пор фундаментом эсперанто, в 1887 году. Н. Я. Марр опубликовал первую свою работу по яфетическому грузинскому языку в 1888 году. Совпадение столь же знаменательное, как появление в одном и том же 1859 году первых крупнейших сочинений Дарвина и Маркса по их столь идейно близким между собою учениям!..

* * *

Нет надобности в настоящем труде говорить о распространении эсперанто, о литературе на нем и т. д. в доказательство его жизненности. Читатели найдут это в других сочинениях и между прочим в той-же книге Э. Дрезена, на которую мы ссылались выше. Остановимся только на его типологии, на его положении в общей системе человеческих языков. По этой типологии он оказывается не классовым флексивным языком, а языком агглютинативным — племенным, когда скрещивавшиеся между собою племена, образовывавшие и племенные государства, не теряли своей политической самостоятельности, владели своим племенным имуществом, и их взаимоотношения выражались в том, что одни племена считались правящими, другие — подчиненными, но последние лишь платили дань первым. В языках это выражалось в том, — как мы знаем, — что звукозначимости главенствующих племен становились корнями новых сложных слов, а звукозначимости племен подчиненных — словообразовательными или словоизменительными частицами. Но и те, и другие сохраняли свою самостоятельность и входили в новые сочетания со всей их былой формой и со всем их былою содержанием, или смыслом...

Именно подобное явление мы видим и в эсперанто, причем оно выражено в нем строго последовательно. Но разница тут та, что словообразовательные и словоизмени-

тельные частицы сами в свою очередь могут становиться корнями и от них мы также можем образовывать новые слова путем прибавления к ним других частиц. Одним словом, в эсперанто все части языка, все его звукосочетания есть самостоятельные и вполне равноправные слова, входящие в соединения между собой в силу «социальной» необходимости и притом без всякого ущерба для своей самостоятельности и своего равноправия. В «натуральных» агглютинативных языках этого нет. Следовательно, в этом отношении эсперанто представляет собой диалектический скачок вверх — через флексивность¹⁾ от предшествующей (основной) агглютинативности к новой высшей агглюнтивности!..

В английском языке мы также видим во многом скачок от флексивности его истоков, (т.-е. немецкого (англо-саксонского) и французского (нормандского) языков) к агглютинативности (склонение и спряжение), что собственно и делает его относительно легким для изучения. Но в тоже время мы видим в нем огромное движение к аморфности, т. к. масса корней (собственно, по определению Йесперсена, — все корни, за исключением очень немногих, вроде *daughter*, *mother*, *little*) за последнее время становится односложными и потерявшими свою принадлежность к тем или иным частям речи. Но в то время, как агглютинативность английского языка есть, видимо, результат времени скрещения пришельцев-завоевателей норманов и старых наследников англо-саксонцев и частью результат крестьянских войн и революций XIII—XIV веков, т.-е. воздействия широких масс, в это-же время аморфность его есть явление относительно последнего времени. Т.-е. в этом языке остаются теперь только корни, как отражение в нем исключительного положения господствующих классов; словоизменительные же частицы, — слова подчиненных племен (или классов), — исчезают, как исчезает имущественная самостоятельность и влияние в общественности широких подчиненных масс, ко-

¹⁾ Эсперанто создан на базе европейских флексивных языков.

торые совершенно перестают влиять и на язык, становящийся исключительно языком высших классов... Вполне можно предположить, что если не помешает революция, то английский язык станет до конца аморфным, наподобие китайского. Вместе с тем он станет совершенно недоступным народным массам, чисто философским языком. Всякая социальность из него исчезнет, и он станет строго индивидуальным...

В эсперанто мы видим прямо противоположное явление. Тут в «скрещивающихся племенах» (нациях) сохраняется полная их самостоятельность и равноправность. Нигде никакого насилия: все равны между собой! Язык строго социален, построен на твердых грамматических законах, если и допускающих индивидуальность, то собственно только в стиле, но не в морфологии. А при строгой морфологии синтаксис не нужен. Развитие синтаксиса есть вернейший показатель классности языка (в виду индивидуальности его строения и необходимости тщательной внутренней регламентации). Отсюда-же и наш русский чрезвычайно развитой синтаксис (наша русская речь также в огромной мере флексивна).

Едва ли надо говорить дальше, в чем именно выражается агглютинативность или социальность эсперанто. Кто знаком с этим языком, тот отлично и на каждом шагу, на себе самом ощущает ее в легкости изучения языка, в его стройности, в его простоте и т. д. Тут каждому звуку отвечает одно начертание и наоборот (т.-е. пишется то, что говорится, и произносится или читается то, что написано). Тут каждому звукосочетанию отвечает один точно определенный смысл, и наоборот; и это соотношение «звуков» и их значимости никогда не изменяется, как никогда не меняется и самое звукосочетание при его соединениях с другими звукосочетаниями в сложных словах.

Из этих свойств типологии эсперанто вытекает также чрезвычайное богатство его словаря. Каждый эсперан-

тист может составлять нужные ему слова из относительно небольшого запаса первичных слов (безразлично — корни ли они или аффиксы, по общепринятым распорядку). Если новое словообразование логично, то его поймут и, быть может, оно даже вытеснит современем ранее уже пущенное в ход соответственное словосочетание. Лейбниц еще в XVII в. писал, что **богатство языка состоит не в обилии готовых сложных слов, а в наличии в языке твердых правил словообразования из немногих основных элементов**. Это именно мы видели в тюркском языке. Это же видим и в эсперанто, но уже с исключением вслких отклонений от основных правил-законов!..

При всех-же указанных высоких своих достоинствах, эсперанто естественно переносит их и в головы изучающих его людей. Вырабатываются строго отличные друг от друга центры фонем, морфем, слов-символов, семем и психем. Никакой путаницы между ними не может быть. **Все внутренние мозговые процессы идут последовательно, как бы со ступеньки на ступеньку. Социальность языка имеет огромное преобладание над его индивидуальностью!..**

А что все это — отнюдь не одна теория, — это отлично знают все эсперантисты как нашего рабоче-крестьянского мира, так мира буржуазного. Но у нас эта социальность языка является вполне естественным признаком к обще-социальной установке широких трудящихся масс. У буржуазии же социальность «эсперанто» отображается в пацифистских «проповедях», в мечтах о «братьстве народов» и т. п. Многие буржуазные эсперантисты-идеалисты при этом совершенно искренно верят в возможность умиротворения человечества при помощи распространения одного общего языка. От этой утопической веры их не исцелила даже прошлая война, когда почти все довоенные эсперантисты перестали быть интернационалистами, а стали самыми махровыми патриотами и врагами эсперантистов - пацифистов враждебных стран!..

Выводы и заключения

Эсперанто как ступень к объединению миро- вого пролетариата

В заключительной главе остается подвести итоги всему сказанному в настоящем труде.

Начнем с того, что сравним наши европейские флексивные языки со сплавами металлов. Появились они, как мы знаем, — в начавшуюся для Средиземноморского человечества «металлическую эпоху», в которой бронза предшествовала другому твердому металлу, т. е. железу. Бронза — это сплав меди и олова. Она не похожа на свои составные части в очень многих отношениях. Она тверже меди и олова, она обладает многими такими свойствами, которых нет ни в меди, ни в олове. Ну, и вновь возникшие языки, как и породившая их новая общественность, могут быть уподоблены той же бронзе. Из племен, скрестившихся между собой, стали вырабатываться «нации», как новые «сплавы», в которых и узнать нельзя их составные ингредиенты. Тут — полное смешение, тут — внутреннее слияние былых самостоятельных элементов — племен. От их былого равноправия и самостоятельности не остается и следа. «Высшие», — т. е. более сильные по чему-бы то ни было, — племена захватывают в свои руки всю власть и все имущество, как прямое выражение и обоснование своей власти политической и общественной. «Нисшие» — обращаются в управляемый «народ», в «плебс», теряющий постепенно все свои права на какое-либо материальное достояние, кроме своих детей ¹⁾. Да и то, сами превращаясь в рабов, они, естественно, отдают в рабство и свое потомство!..

¹⁾ Слово «пролетарий» произошло, как известно, от латинского *proles*, что значило «дети, потомство», *Proletarii*, как государственный класс, был и беднейшим из шести имущественных классов, установленных в древнем Риме его шестым царем Сервием Туллием (578 — 534 до н. э.).

Тоже самое, — как мы знаем, — происходит и с языками этой эпохи. Языки также становятся «сплавами», в которых совершенно не узнать былые племенные слова. Вырабатываются новые корни — отображения новых «господствующих» классов — и новые «формальные» частицы — словообразовательные и словоизменительные, роль которых исключительно служебная. От их былой «значимости» не остается в сущности и следа. Они «органически» сливаются с своими владыками — корнями и образуют с ними полные слова-сплавы, дающие новые словоизменения только в своем целом «органическом» составе, т.-е. с «органическим» изменением не только «формальных» частичек, но и самих корней (или с их флексией). Эти языки становятся из былых «племенных», или «семейных» новыми «политическими», или «государственными языками».

Естественно, такой переворот во всем строе жизни и внешней, и внутренней, до переворота в языках включительно, соответствовал полному перевороту и в мышлении. Мы уже знаем, что мысль и язык — это не отдельные элементы, но составные части одного и того-же цельного явления. Мышление, из былого плохо внутренне связанного, образного, дологического, не умевшего связать самые близкие по своему существу вещи, — это мышление в металлическую эпоху постепенно становится логическим, абстрактным, или отвлеченным. Образы, — непосредственные воспроизведения природных фактов и явлений, отходят на задний план и становятся отвлеченными и обобщениями. Вместо того, чтобы думать и говорить, — как объясняет Яфетическая теория, — «петух брат собаки» поевые люди думают «петух и собака», т.-е. конкретный образ «брата» заменяется абстрактным союзом «и».

Несомненно, это — огромный прогресс. Правда, он покупался дорогой ценой. Он покупался ценой рабства народных масс перед их «национально» господствующими классами. Но все же это был колossalный прогресс, так как только тут образовывалось из прежнего скучного конкретного (образного) мышления новое абстрактное «звуковое»

мышление, в котором «звуки» становились как-бы «вещами», телами-носителями новой «металлической» сплавной и твердой, как бронза и железо, и вместе с тем гибкой и подвижной мысли. Рядом с орудиями физического труда из названных металлов появилось совершеннейшее «орудие производства всех остальных орудий производства», т.-е. логический отвлеченный язык. А он-то и формировал нового человека «металлической эпохи» и давал ему возможность, действительно, становиться из простой части окружающей природы ее подлинным владыкою. Он-то и давал возможность этому новому человеку возможность комбинировать в своей голове отвлечения, или «звуковые образы—символы» самых разнообразных вещей и предметов как конкретных—так и абстрактных, делая из них гораздо более широкие отвлечения и обобщения. Логический отвлеченный язык в конечном итоге позволил человеку строить из этих образов в своей голове те планы, которые потом диктовали рукам, снабженным новыми сложными и послушными внешними металлическими орудиями и машинами, свою волю по созданию новых нужных, изобретенных умом, вооруженным звуковым языком, орудий, машин и других предметов новой истинно человеческой культуры, ее науки, искусства, всей ее идеологии... А на этой новой идеологической почве, путем диалектического взаимодействия, рождалась все новая и новая общественность...

Однако, эта общественность за самое последнее время дошла уже до полного абсурда, дошла до полного **самоотрицания**. Войны, уничтожающие целые порабощенные у себя же дома народы только для того, чтобы набить золотом сундуки мировых владык-капиталистов; стирание с лица земли населения целых стран, если только это население начинало робко заявлять о своем человеческом праве устраиваться в своей стране по своему собственному желанию; истребление чудных культурных сокровищ, которыми до того так дорожили все народы мира,— все эти и им подобные подавляющие по своему ужасу явления довели до «отрицания» былое «отрицание» невежества тех-же коло-

ниальных народов, т.-е. культуру европейских владык-захвателей. Эта культура в своих «высших проявлениях» — в пушках, стреляющих на сотню верст, в танках, уничтожающих на своем пути все материальные предметы, в аэро-планах с их газовыми бомбами, содержимое которых в несколько минут может уничтожить все население цветущих стран и городов,—эта «гуманная европейская культура», эта «высокая цивилизация» стала **самоотрицанием**; ее мышление, допускающее названные ужасы, стало больным¹⁾, до садизма извращенным и нуждающимся, очевидно, в радикальном лечении. Это же лечение возможно вести только через то орудие, которое помогло созданию этого больного мышления, т.-е. через его *alter ego*, через его звуковой язык, который, очевидно, нуждается в полном перевороте...

И вот тут-то продукция двух умов Марра и Заменгофа, — один из которых впервые за все время человеческой истории объяснил порабощенному человечеству, что такое в своем существе его язык и как он создает его мышление, а другой указал путь к сознательному плановому созданию нового мышления на основе нового языка, с его новой, более высокой типологией²⁾, — эта продукция великолепно восполняет теперь и завершает ту продукцию двух других гениальных умов Дарвина и Маркса, которые за четверть века перед тем объяснили тому-же человечеству всю его материальную и социальную историю... Ключ к плановому соз-

¹⁾ По своей формальной, педантической «механистичности», или по оторванному от реальной жизни идеализму.

²⁾ Н. Я. Марр объяснил нам, что такое человеческий звуковой язык в своем существе и в своем историческом развитии. Л. Л. Заменгоф показал, чем должен быть этот язык в наше время, при его научной проработке и при необходимости сделать его полнейшим достоянием всех широких народных масс. Вместе-же оба эти учения дают то, что так необходимо нам при нашем новом отношении к нашему «языковому трудовому хозяйству», как отображению нашей новой рационализируемой общественности, для его сознательного упорядочения и обращения в подлинное орудие научно обобществляемого труда.

данию новой «психологии» у нарождающегося нового человека, уже приступившего к плановому созданию своей новой «социологии», на базе новой «экономики», — этот ключ теперь в наших руках!...

Но не следует ли в заключение сказать, что во всех этих как-бы чудесных совпадениях нет абсолютно ничего «чудесного», или «случайного», что все вытекает одно из другого, ибо всякое «отрицание» диалектически содержит в себе самое свое «самоотрицание». Культура, породившая империалистические всемирные войны, дошла до прямого самоотрицания. И сама она-же дает нам орудия для ее переустройства на началах социализма и коммунизма. Нужно только уметь применить эти новые «психологические» орудия, как мы уже умело и планово применяем внешние, физические чисто материальные орудия!..

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие Лингвистической комиссии ОЭСР	3
Гл. I Западно-европейская «наука» о языке.	
а) Естественно-историческое направление	6
» II Западно-европейская «наука» о языке.	
б) Социологическое направление	10
» III Новая материалистическая наука о языке в СССР	14
» IV Общий ход развития человеческого языка	18
» V Что-же такое человеческий звуковой язык?	25
» VI Типологии языка и их классовость	33
» VII Сравнение «фактов» типологий флексивной и агглютинативной	42
» VIII Типологии и мозговые центры	54
» IX Эсперанто в строго объективном научном освещении	
» X Выводы и заключения. — Эсперанто, как ступень к объединению мирового пролетариата	91
	102
